ВОЛЬФГАНГ БОРХЕРТ

 **НА УЛИЦЕ ПЕРЕД ДВЕРЬЮ**

*Пьеса,*

*которую никакой театр не захочет ставить,*

*никакая публика — смотреть*

*Перевод Наталии Ман*

Действующие лица

БЕКМАН, один из тех,

ЕГО ЖЕНА, которая его забыла.

ЕЕ ДРУГ, который ее любит.

ДЕВУШКА, чей муж вернулся домой на одной ноге.

ЕЕ МУЖ, который тысячу ночей о ней мечтал.

ПОЛКОВНИК, очень веселый.

ЕГО ЖЕНА, которая мерзнет в теплой комнате.

ДОЧЬ, она как раз ужинает.

ЕЕ МОЛОДЦЕВАТЫЙ МУЖ.

ДИРЕКТОР КАБАРЕ, который хотел быть смелым, но потом предпочел стать трусом.

ФРАУ ХЛАМ, всего-навсего фрау Хлам, и это самое страшное.

СТАРИК, в которого никто больше не верит.

МОГИЛЬЩИК с отрыжкой.

ДВОРНИК, который вовсе не дворник.

ДРУГОЙ, которого знает каждый.

ЭЛЬБА.

Человек вернулся в Германию.

Он долго отсутствовал, этот человек. Очень долго. Пожалуй, слишком долго. И вернулся совсем не таким, каким ушел. Внешне он сродни пугалу, которое ставят в огородах, чтобы пугать птиц (а иной раз, впотьмах, и людей). И внутренне тоже. Тысячу дней прождал он на лютом морозе. За вход ему пришлось заплатить своей коленной чашечкой. И после того, как он тысячу ночей прождал на лютом морозе, он все же наконец вернулся домой.

Человек вернулся в Германию.

И тут ему демонстрируют сумасшедший фильм. Во время сеанса он много раз щиплет себя за руку, потому что не знает, бодрствует он или спит. Но затем видит, что с людьми справа и слева от него творится то же самое. И думает: видно, это правда. А потом, когда он с пустым желудком и окоченевшими ногами снова стоит на улице, он понимает, что это был самый обыкновенный фильм, самый обыкновенный фильм. О человеке, который вернулся в Германию, об одном из тех... Об одном из тех, что приходят домой и все же домой не приходят, потому что для них больше нет дома. Их “д***о***ма” на улице, перед дверью. Их Германия — ночью на улице, когда хлещет дождь.

Это их Германия.

ПРОЛОГ

Воет ветер. Эльба плещется о понтоны. Вечер. МОГИЛЬЩИК. На фоне вечернего неба силуэт человека.

МОГИЛЬЩИК (*рыгает много раз подряд и каждый раз приговаривает*). Ишь ты! Ишь ты! Как они — ишь ты! Как мухи! Точь-в-точь как мухи. Эге, да там кто-то стоит. На понтоне. Кажется, в военной форме. Ну да, в старой солдатской шинели. Без фуражки. Волосы у него короткие, как щетина. Стоит довольно близко к воде. Даже слишком близко к воде. Это подозрительно. Впотьмах у воды стоят либо влюбленные пары, либо поэты. А может, это один из великого серого множества тех, кто уже не знает радости. Кому все осточертело и кто вышел из игры. Похоже, это один из них стоит на понтоне. Стоит слишком близко к воде. Один стоит. Значит, это не влюбленная парочка, для парочки нужны двое. И не поэт. У поэтов волосы подлиннее. А у этого на понтоне — как щетина. Странное дело с этим малым на понтоне, очень даже странное.

Слышится всплеск, тяжелый и темный. Силуэт исчез.

Ишь ты! Раз — и нет его. Прыгнул. Слишком близко стоял к воде. Она его и слизнула. Нет его теперь! Ишь ты! Человек умирает. Ну и что? Да ничего. Ветер веет по-прежнему. Эльба плещется по-прежнему. Трамвай звенит по-прежнему. Шлюхи, белые, гладкие, по-прежнему высовываются из окон. Господин Хлам переворачивается на другой бок и храпит по-прежнему. И часы, ни одни часы не остановились. Ишь ты! Человек умер. Ну и что? Да ничего. Только два-три круга на воде — все, что от него осталось. Да вот уж и кругов не видать. А пропали круги, и он забыт, пропал без следа, словно и не было его. Вот и все. Э, никак, там кто-то плачет. Странно! Старик стоит и плачет. Добрый вечер.

СТАРИК (*не жалобно, а с великим огорчением*). Дети! Дети! Мои дети!

МОГИЛЬЩИК. Ты почему плачешь, старый?

СТАРИК. Потому, что не могу ничего изменить, ох, потому, что не могу ничего изменить.

МОГИЛЬЩИК. Ишь ты! Прощенья просим. Плохо, значит, дело. Но ты же не брошенная невеста, чтобы так убиваться. Ишь ты! Прощенья просим!

СТАРИК. О мои дети! Это же все мои дети.

МОГИЛЬЩИК. Ого! Кто же ты такой?

СТАРИК. Бог, в которого никто больше не верит.

МОГИЛЬЩИК. А почему ты плачешь? Ишь ты! Прощенья просим.

БОГ. Потому, что ничего не могу изменить. Они стреляются. Они вешаются. Они топятся. Убивают себя, сегодня сто человек, завтра сто тысяч. А я, я не могу этого изменить.

МОГИЛЬЩИК. Худо, худо, старик. Очень худо. Но никто в тебя больше не верит, в том-то все и дело.

БОГ. Очень худо. Я бог, в которого никто больше не верит. И я ничего не могу изменить, дети мои, ничего не могу. Худо, совсем худо!

МОГИЛЬЩИК. Ишь ты! Прощенья просим. Как мухи! Ишь ты! Черт возьми!

БОГ. Почему вы все время так мерзко рыгаете? Это просто ужасно!

МОГИЛЬЩИК. Что и говорить, отвратительно. Профессиональная болезнь. Я могильщик.

БОГ. Так ты смерть? Тебе хорошо. Ты новый бог. В тебя они верят. Тебя любят. Тебя боятся. Ты ниспровержим. Тебя никто не может отрицать! Или поносить. Да, тебе хорошо. Ты новый бог. Мимо тебя никому не пройти. Ты, смерть, новый бог. Но облик твой изменился. Больно ты разжирела. Я тебя помню совсем другой. Куда тощее, суше, костлявее, а теперь ты круглая, жирная и благодушная. Прежде смерть выглядела голодной-преголодной.

СТАРИК. Ну да, в этом столетии я малость обросла жирком. Дела шли отлично. Все война да война. Как мухи! Как мухи липнут мертвецы к стенам этого столетия. Как мухи, недвижные, иссохшие, лежат они на подоконнике времени.

БОГ. Но отрыжка? Почему вы так мерзко рыгаете?

СТАРИК. Обожралась. Обожралась, вот и все! Нынче от отрыжки не избавишься. Ишь ты! Прощенья просим!

БОГ. Дети, дети! И я ничего не могу изменить! Дети мои, дети! (*Уходит.*)

СТАРИК. Ну, если так, спокойной ночи, старик. Иди спать. Да смотри, хоть ты-то не свались в воду. Один тут недавно сверзился. Осторожно, старик. Темно ведь, хоть глаз выколи. Ишь ты! Иди домой, старик. Ничего все равно не изменишь. И не оплакивай того, кто сейчас бултыхнулся в воду. В солдатской шинели, с волосами щетиной. Ты исплачешься весь! Теперь по вечерам у воды стоят не влюбленные парочки, не поэты. Этот малый был только одним из тех, что больше не хотят или больше не могут. Кому совсем уж невмоготу стало, те вечером потихоньку бросаются в воду. Бултых! Кончено. Забудь о нем, не реви, старик. Смотри, доревешься. Это был всего-навсего один из тех, которым уже невмоготу, одни из великого серого множества... только один...

СОН

На дне Эльбы. Монотонный плеск мелких волн. ЭЛЬБА. БЕКМАН.

БЕКМАН. Господи, куда ж это я попал? Где я?

ЭЛЬБА. У меня.

БЕКМАН. У тебя? А кто ты?

ЭЛЬБА. Кем же мне быть, желторотый, если ты в Сен-Паули прыгнул с понтонного моста в воду?

БЕКМАН. Ты Эльба?

ЭЛЬБА. Точно, Эльба.

БЕКМАН (*поражен*). Ты Эльба?

ЭЛЬБА. Что ты на меня вылупился, несмышленыш? Воображал, верно, что я романтическая девица с бледно-зеленым цветом лица? Эдакая Офелия с кувшинками в распущенных волосах? И решил коротать вечность в моих благоуханных лилейных объятиях? Нет, сынок, ты ошибся. Я не романтична и не благоухаю. Порядочная река всегда воняет. Да, да. Нефтью и рыбой. Что тебе здесь надо?

БЕКМАН. Выспаться. Там, наверху, мне уже невмоготу. Я вышел из игры. Спать хочу. Мертвым быть. Мертвым до конца моих дней. И спать. Наконец-то спокойно спать. Спать десять тысяч ночей подряд.

ЭЛЬБА. Удрать вздумал, желторотый, а? Вообразил, что тебе невмоготу? Там, наверху, да? Вбил себе в голову, что с тебя довольно, юнец несчастный? Сколько же тебе лет, бедолага?

БЕКМАН. Двадцать пять. Мне бы выспаться.

ЭЛЬБА. Скажите, пожалуйста, двадцать пять. И остаток жизни хочет продрыхнуть. Двадцать пять — и в ночь, в туман топиться, оттого, что невмоготу стало. Что ж именно тебе невмоготу, старик?

БЕКМАН. Все. Все, не могу я больше там. Не могу больше голодать. Не могу больше быть хромоногим. Не могу, постояв перед своей постелью, снова ковылять вон из дома, потому что постель занята. Нога, постель, хлеб — не могу я больше, пойми ты!

ЭЛЬБА. Нет, сопливый самоубийца! Нет, слышишь! Ты что думаешь, если твоя жена не хочет больше с тобой забавляться, если ты охромел и в животе у тебя урчит, так уж и надо залезать ко мне под юбку? С маху и в воду? Эх ты, если бы все голодные вздумали топиться, добрая старушка земля стала бы голой, как плешь упаковщика в мебельном магазине, голой и блестящей. Нет, номер не прошел, мой мальчик. Меня такими штуками не проймешь. Я тебя в утопленники не зачислю. Штаны бы с тебя спустить, малыш, да, да! Хоть ты и был шесть лет солдатом. Все были. И все теперь калеки. Поищи для себя другую постель, раз твоя занята. Твоя жизненка мне не нужна. Стажу у тебя маловато. Позволь старой женщине сказать тебе: поживи сначала. Дай себя потоптать. И сам топчи, не зевай. А когда уж деваться будет некуда, когда свалит тебя паралич и твое сердце поползет на четвереньках, тогда и поговорим. А сейчас без глупостей, ясно? Сейчас убирайся-ка отсюда, красавчик. На черта мне сдалась твоя жизненка. Оставь ее себе. Я без нее обойдусь, малыш. И попридержи язык, сын человеческий. Я тебе что-то скажу сейчас, тихонько совсем, на ушко, подойди-ка сюда: плевать мне на твое самоубийство! Сосунок. Смотри, что я с тобой сделаю. (*Громко.*) Эй, ребята! Выбросьте-ка этого мальца снова не берег у Бланкенезе! Он еще раз попытается жить, он обещал. Да тащите осторожно, он говорит, у него нога больная, паршивец эдакий, птенец несчастный!

СЦЕНА ПЕРВАЯ.

Вечер. Бланкенезе. Слышен ветер, слышна вода. БЕКМАН. ДРУГОЙ.

БЕКМАН. Кто там? Среди ночи. У самой воды. Эй! Кто это там?

ДРУГОЙ. Я.

БЕКМАН. Отлично. А кто такой я?

ДРУГОЙ. Я Другой.

БЕКМАН. Другой? Какой еще другой?

ДРУГОЙ. Я Другой, из вчера. Из прежде. Из вечности. Говорящий *да*. Только *да*.

БЕКМАН. Из прежде? Из вечности? Ты, значит, из нашей школы, с нашего катка? С нашей лестницы?

ДРУГОЙ. Я из пурги под Смоленском. Я из дота под Городком.

БЕКМАН. И ты из Сталинграда тоже, Другой, ты и оттуда?

ДРУГОЙ. И оттуда. А еще из сегодняшнего вечера. Из завтра тоже.

БЕКМАН. Завтра. Завтра не существует. Завтра обойдется без тебя. Убирайся. У тебя нет лица.

ДРУГОЙ. Ты от меня не избавишься. Я Другой, тот, который всегда с тобой. Утром. Под вечер. В постели. Ночью.

БЕКМАН. Убирайся. У меня нет постели. Я здесь валяюсь в грязи.

ДРУГОЙ. Я из грязи. Я везде и всюду. Ты от меня не избавишься.

БЕКМАН. У тебя нет лица. Уходи.

ДРУГОЙ. Ты от меня не избавишься. У меня тысяча лиц. Я голос, знакомый каждому. Я Другой, тот, кто есть всегда: другой человек. Говорящий *да*. Который смеется, когда ты плачешь. Гонит вперед, когда ты устал, погонщик, соглядатай, не дающий поблажки, — вот кто я. Я оптимист, видящий добро во зле и фонари в непроглядном мраке. Я тот, кто верит, кто смеется, кто любит. Я тот, кто и на хромой ноге марширует дальше. Кто говорит *да*, когда ты говоришь *нет*, я — говорящий *да*. Тот, кто...

БЕКМАН. Говори “да” сколько тебе угодно. И уходи. Я не хочу тебя. Я говорю *нет*. *Нет*. *Нет. Уходи*. Я говорю *нет*. Слышишь?

ДРУГОЙ. Слышу. Потому и остаюсь. Кто же ты, говорящий *нет?*

БЕКМАН. Меня зовут Бекман.

ДРУГОЙ. Я крестного имени у тебя разве нет?

БЕКМАН. Нет. Со вчерашнего дня. Со вчерашнего дня я зовусь Бекман, только Бекман. Как стол зовется столом.

ДРУГОЙ. Кто зовет тебя столом?

БЕКМАН. Моя жена. Нет, та, что была моей женой. Я три года здесь не был. Был в России. А вчера вернулся домой. В том-то и беда. Три года — это, знаешь, немало, Бекман, сказала мне жена. Просто Бекман, и все. А я ведь три года здесь не был. Бекман, сказала она, как просто стол говорят — стол. Предмет домашнего обихода: Бекман. Убрать его отсюда, это предмет. Вот видишь, потому у меня и нет больше крестного имени. Понял?

ДРУГОЙ. А почему ты лежишь на песке? Среди ночи, да еще у воды?

БЕКМАН. Мне наверх не взобраться. Я, видишь ли, вернулся с негнущейся ногой. На память. Такие памятки — хорошее дело, не то быстро позабудешь войну. А этого бы мне не хотелось. Очень уж все было красиво. Красиво до чертиков, а?

ДРУГОЙ. И потому ты ночью лежишь у воды?

БЕКМАН. Я упал.

ДРУГОЙ. Ах, упал. В воду?

БЕКМАН. Нет, нет! Нет, говорят тебе! Послушай, я ведь хотел в нее упасть. Это преднамеренно. Не мог больше выдержать. Хромаешь, ковыляешь. Да еще история с женой, с той, что была моей женой. Называет меня просто Бекман, как стол называют столом. А тот, что был с нею, осклабился. И потом эти развалины. Щебень, щебень, куда ни глянь. Здесь, в Гамбурге. И где-то под ним лежит мой сын. Кучка известки, грязи! Человеческий пепел, костная известь. Ему как раз исполнился год, и я его еще не видел. Но теперь вижу каждую ночь. И над ним десять тысяч камней. Щебень, горсточка щебня. Этого мне не выдержать, думал я. И мне захотелось упасть. Это легко, думал я: с понтона вниз. Бух! И все кончено.

ДРУГОЙ. Бух? И все кончено? Ты видел сон. Ты ведь лежишь здесь, на песке.

БЕКМАН. Cон? Да. С голоду. Мне снилось, она меня выплюнула, эта Эльба, эта старая... Не захотела меня. Велела еще раз попытаться. Я, дескать, не имею права. Зелен еще, сказала она. Сказала, что ей начхать на мою жизненку. На ухо мне сказала, что ей начхать на мое самоубийство. Начхать, сказала эта проклятущая... и ругалась, как торговка на рыбном рынке. Жизнь, дескать, прекрасна, а я вот лежу в мокрых отрепьях на пляже Бланкенезе и мерзну. Всегда мерзну. В России я довольно намерзся. Сыт по горло, шутка ли вечно мерзнуть. А Эльба, проклятая старуха... Но это мне с голоду привиделось. Кто там еще?

ДРУГОЙ. Кто-то идет. Девушка или вроде того. Вот. Пожалуйста, она собственной персоной.

ДЕВУШКА. Кто там? Кто-то говорил сейчас; хелло, есть здесь кто-нибудь?

БЕКМАН. Да, здесь лежит человек. Здесь. Внизу, у воды.

ДЕВУШКА. Что вы там делаете? Почему вы не встаете?

БЕКМАН. Я здесь лежу, вы же видите. На песке и наполовину в воде.

ДЕВУШКА. Но почему же? Вставайте. Я сначала подумала, там труп лежит, когда заметила темное пятно у самой воды.

БЕКМАН. О да, это совсем темное пятно. Могу вас заверить.

ДЕВУШКА. Вы так чудно говорите почему-то. Теперь здесь часто лежат трупы по ночам. Иногда вздувшиеся и склизкие. И белые, как привидения. Вот я и испугалась. Но вы, слава богу, еще живы. Только, наверно, промокли до костей.

БЕКМАН. Я мокрый и холодный, как труп.

ДЕВУШКА. Вставайте же наконец. Или вы ранены?

БЕКМАН. Да. Они меня оставили без коленной чашечки. В России. И теперь я со своей негнущейся ногой ковыляю по жизни. Мне все кажется, я иду назад, а не вперед. А чтобы вверх лезть — об этом и речи не может быть.

ДЕВУШКА. Так пойдемте же. Я вам помогу. Иначе вы понемногу превратитесь в рыбу.

БЕКМАН. Если вы считаете, что я устою на ногах, можно попробовать. Так. Благодарю.

ДЕВУШКА. Видите, мы даже кверху идем... Но вы насквозь мокрый и холодный как лед. Если бы я не оказалась здесь, вы наверняка превратились бы в рыбу. Вы и молчите, как рыба. А я вам сейчас кое-что скажу, можно? Мой дом здесь, близко. У меня там есть сухая одежда. Пойдемте со мной? Хорошо? Или вы слишком гордый и не позволите мне вас обсушить? Эх вы, полурыба. Мокрая немая рыба, вот вы кто!

БЕКМАН. Вы хотите повести меня к себе?

ДЕВУШКА. Да, если вы этого хотите. Надеюсь, вы очень некрасивый и скромный, чтобы мне не пришлось раскаиваться, что я вас привела к себе. Я вас веду к себе только потому, что вы мокрый и замерзший, понятно? И еще потому...

БЕКМАН. потому? Какое еще “потому”? Нет, только потому, что я мокрый и замерзший. Другого “потому” быть не может.

ДЕВУШКА. Нет, может. И потому, что у вас такой безнадежно печальный голос. Беззвучный и безутешный. Ах, все это вздор, верно? Идемте, немая старая мокрая рыба.

БЕКМАН. Стоп! Вы от меня убегаете. Мне за вами не поспеть. Не торопитесь!

ДЕВУШКА. Ах, да. Ладно: пойдем медленно. Как две старые-престарые окаменелые мокрые рыбины.

ДРУГОЙ. Ушли. Вот они, эти двуногие. Что за удивительный народ живет на земле. Сначала бросаются в воду, одержимые желаньем умереть. А затем в темноте случайно проходит другое двуногое созданье, в юбке, с бюстом и длинными кудрями. И жизнь опять прекрасна, сладостна. И никто уже не хочет умирать. Хочет жить вечно! И все из-за белой кожи, кудряшек и чуточки женского запаха. И они встают со смертного одра, сильные, как десять тысяч оленей в феврале. И даже наполовину утопленники оживают, те, которым невмоготу стало жить на этом проклятом, опустелом, злосчастном земном шаре. Утопленники возвращаются к жизни из-за пары глаз, из-за чуточки теплого сочувствия, из-за маленьких ручек и стройной шеи. Даже утопленники, вот они, эти двуногие, что за удивительный народ живет на земле...

СЦЕНА ВТОРАЯ

Комната. Вечер. Дверь скрипит и захлопывается. БЕКМАН. ДЕВУШКА.

ДЕВУШКА. Так, ну а теперь посмотрю при лампе, что за рыбу я выудила. Ну и ну! (*Она смеется.*) Скажите, ради бога, что это за штука такая?

БЕКМАН. Эта? Это мои очки. Да. Вы смеетесь. Это мои очки. К сожалению.

ДЕВУШКА. Это вы называете очками? По-моему, вы нарочно строите из себя чудака.

БЕКМАН. Да, мои очки. Вы правы: вид у них, пожалуй, немножко чудной. С этой жестяной оправой. И серые тесемки, которыми они прикрепляются к ушам. И серая тесемка на переносице! От них лицо делается серым, как шинель. Жестяное лицо робота. Лицо противогаза. Да это и есть противогазные очки.

ДЕВУШКА. Противогазные очки?

БЕКМАН. противогазные. Их выдавали солдатам со слабым зрением. Чтобы они и в противогазе могли что-нибудь видеть.

ДЕВУШКА. А почему вы их сейчас-то носите? Что, у вас нет настоящих очков?

БЕКМАН. Нет. Были, да. Но их сбило взрывной волной. Эти, конечно, некрасивые. Но я рад, что хоть такие есть. Ужасно уродливые очки, я знаю. И они лишают меня уверенности в себе, потому что люди надо мной смеются... Но, в конце-то концов, мне все равно. Я без них не могу. Без очков мне пропасть. Правда, без них я никуда не гожусь.

ДЕВУШКА. Да? Без них никуда не годитесь? (*Радостно, не жестоко.*) Ну так давайте сюда скорее эту гнусную штуку. Вот — ну что скажете? Нет, вы только перед уходом получите их обратно. Вдобавок мне так спокойнее. Я ведь знаю, что без них вы никуда не годитесь. Гораздо спокойнее. Без очков вы совсем другой. По-моему, у вас такой безотрадный вид именно потому, что вы смотрите на все сквозь свои страшные противогазные очки.

БЕКМАН. А теперь у меня все плывет перед глазами. Верните их мне. Я ничего больше не вижу. Вы тоже отодвинулись куда-то вдаль. И не разглядеть.

ДЕВУШКА. Чудесно. Мне этого и надо. Да и для вас так лучше. В очках вы похожи на призрак.

БЕКМАН. Может, я и есть призрак. Призрак вчерашнего дня, на который сегодня никто и смотреть не хочет. Призрак времен войны, кое-как подновленный для мирного времени.

ДЕВУШКА (*с сердечной теплотой*). И какой угрюмый, серый призрак! Мне кажется, у вас и внутри такие противогазные очки, эх вы, недоделанная рыба. Очки пусть остаются у меня. Даже хорошо, если один вечер у вас все будет немного расплываться перед глазами. Ну что, брюки годятся? Ладно, сойдет. Вон там куртка, берите и ее.

БЕКМАН. Ого! Сначала вы меня вытаскиваете из воды, а потом стараетесь, чтобы я утонул. Да она с плеч настоящего атлета. У какого великана вы ее стащили?

ДЕВУШКА. Этот великан мой муж. Был когда-то.

БЕКМАН. Ваш муж?

ДЕВУШКА. Да. А вы думали, я торгую мужской одеждой?

БЕКМАН. Где же он? Ваш муж?

ДЕВУШКА (*тихо, с горечью*). Умер с голоду, замерз, убит — откуда мне знать. После Сталинграда он пропал без вести. Вот уже три года.

БЕКМАН (*оцепенело*). В Сталинграде? В Сталинграде, да, да. Да, в Сталинграде, там много полегло. Но некоторые возвращаются. И надевают вещи тех, кто не вернулся. Человек, который был вашим мужем, был великаном, человек, которому принадлежит все это, не вернулся. А я, я явился сюда и надеваю его костюм. Это здорово, правда? Разве не здорово? И куртка его такая огромная, что я прямо тону в ней. (*Торопливо.*) Я ее сейчас сниму. Не могу иначе. Надену свое мокрое тряпье. Я умру в этой куртке. Она меня душит. Я же карикатура в ней. Страшная, гнусная карикатура, сделанная войной. Не хочу я оставаться в этой куртке.

ДЕВУШКА (*тепло, горестно*). Тише, ты, рыбина. Останься в ней, пожалуйста. Таким ты мне нравишься, рыбина. Несмотря на твою дурацкую прическу. Ее ты тоже вывез из России, да? Очки, нога, да еще эта нелепая щетина. Вот в чем дело. Ты не думай, что я над тобою смеюсь, рыбина. Нет, конечно, нет! У тебя такой удивительно печальный вид, бедняга ты, серый призрак, в куртке с чужого плеча, и потом эти волосы и негнущаяся нога. Нет, рыбина, нет! мне не до смеха. У тебя такой печальный вид. Я реветь готова, когда ты на меня смотришь своими безутешными глазами. Ты молчишь. Скажи что-нибудь, рыбина, скажи. Что-нибудь скажи. Хоть бессмыслицу, да скажи. Скажи, рыбина, ведь ты подумай, как страшно тихо в мире. Скажешь что-нибудь, и уже не так одиноко. Открой же рот, человек-рыба. Нельзя так стоять весь вечер. Поди сюда. Сядь. Здесь, со мной рядом. Поближе, слышишь? Не бойся, я ведь все равно расплываюсь у тебя перед глазами. Подойди, даже закрой глаза, если хочешь. Подойди и скажи хоть слово, чтобы не так пусто было. Разве ты не слышишь, какая ужасная тишина кругом?

БЕКМАН (*в смятении*). Мне приятно смотреть на тебя. На тебя, да. Но при каждом шаге мне чудится, что я иду назад. Понимаешь ты, что со мной делается?

ДЕВУШКА. Ах, брось. Вперед, назад. Вверх, вниз. Завтра, возможно, мы будем лежать в воде, разбухшие и склизкие. Немые и холодные. Но сегодня мы еще теплые, сегодня вечером еще теплые, слышишь ты! Скажи что-нибудь, рыба. Сегодня вечером тебе от меня не уплыть. Будь покоен. Я ни одному твоему слову не верю. Но дверь, дверь я на всякий случай запру.

БЕКМАН. Оставь. Я не рыба, и дверь запирать не к чему. Видит бог, я не рыба.

ДЕВУШКА (*горячо*). Рыба! Рыба ты! Мокрый серый призрак.

БЕКМАН (*словно в забвении*). Меня это давит. Я иду ко дну. Душит меня. Оттого, что я так плохо вижу. Все в сплошном тумане. Но меня душит.

ДЕВУШКА (*испуганно*). Что с тобой? Да ну же, говори, что с тобой?

БЕКМАН (*с возрастающим страхом*). Я схожу с ума, медленно, но верно схожу с ума. Отдай мне очки. Живо. Это оттого, что в глазах у меня туман. А-а! Мне кажется, за твоей спиной стоит человек! Все время стоит. Огромный. Похожий на атлета. Великан, понимаешь, великан. Но это только кажется, потому что я без очков, великан-то на одной ноге. Он все ближе подходит, великан на одной ноге, на двух костылях. Слышишь: тук-так, тук-так. Это костыли стучат. Он уже стоит за тобой. Чуешь его дыхание на затылке? Дай мне очки, я не хочу больше его видеть. Вот он вплотную стоит за тобой.

Девушка кричит и убегает.

Какая-то дверь скрипит и захлопывается. Явственно слышно “тук-так” костылей.

(*Шепотом.*) Великан!

ОДНОНОГИЙ (*монотонно*). Что ты здесь делаешь? Эй, ты? В моей одеже? На моем месте? С моей женой?

БЕКМАН (*обомлев*). Твоя одежа? Твое место? Твоя жена?

ОДНОНОГИЙ (*все так же монотонно и вяло*). А ты, ты что тут делаешь?

БЕКМАН (*запинаясь, тихо*). Вчера ночью я то же самое спрашивал у мужчины, который был у моей жены. В моей рубашке. В моей постели. Что ты здесь делаешь? — спросил я. У него плечи поднялись и тут же опустились, и он сказал: Как — что я здесь делаю? Вот что он мне ответил. А я закрыл дверь в спальню, нет, сначала я погасил лампу... И вышел на улицу.

ОДНОНОГИЙ. Поди сюда, к свету. Я хочу разглядеть твое лицо. Ближе. (*Глухо.*) Бекман!

БЕКМАН. Да. Я. Бекман. Я думал, ты меня не узнаешь.

ОДНОНОГИЙ (*тихо, но с душераздирающим упреком*). Бекман... Бекман... Бекман!

БЕКМАН (*мучаясь*). Замолчи ты! Не называй этого имени! Я не хочу больше носить это имя! Замолчи!

ОДНОНОГИЙ (*жалобно*). Бекман, Бекман.

БЕКМАН (*кричит*). Это не я! Я больше не хочу им быть! Не хочу быть Бекманом! (*Выбегает.*)

Какая-то дверь скрипит и захлопывается. Слышен ветер и бег человека по тихим улицам.

ДРУГОЙ. Стой! Бекман!

БЕКМАН. кто это?

ДРУГОЙ. Я. Другой.

БЕКМАН. Опять ты здесь?

ДРУГОЙ. Еще здесь, Бекман. Всегда, Бекман.

БЕКМАН. Что тебе надо? пропусти меня.

ДРУГОЙ. Нет, Бекман. Это дорога к Эльбе. Пойдем, улица там, повыше.

БЕКМАН. Пропусти меня. Я к Эльбе хочу.

ДРУГОЙ. Нет, Бекман. идем. Дальше ты пойдешь по улице.

БЕКМАН. Дальше по улице! Значит, я должен жить? Дальше идти? Должен есть, спать и все прочее?

ДРУГОЙ. Идем, Бекман.

БЕКМАН (*скорее вяло, чем взволнованно*). Не называй этого имени. Не хочу больше быть Бекманом. Нет у меня больше имени. Жить дальше, когда есть человек, человек с одной ногой, и это из-за меня у него одна нога? У него одна нога, потому что был на свете унтер-офицер Бекман, который сказал однажды: обер-ефрейтор Бауер, с этого поста вы не уйдете, будете стоять насмерть. Мне жить дальше, когда есть этот одноногий, который то и дело говорит: Бекман! Упорно: Бекман! Все время: Бекман! И так, словно говорит “могила”. Словно “убийство” говорит или “собака”. Мое имя выговаривает как “светопреставление”! Глухо, грозно, отчаянно. а ты говоришь, мне жить дальше? Я на улице, опять на улице. Вчера ночью стоял на улице. Сегодня стою на улице. Всегда стою на улице. А двери закрыты. А при этом я человек с ногами, и ноги у меня усталые, тяжелые. С брюхом, и оно урчит от голода. С кровью, и она стынет ночью на улице. А одноногий все твердит мое имя. А ночью мне даже прилечь негде. Но куда мне деваться, скажи? Пропусти меня!

ДРУГОЙ. Пойдем, Бекман. Дальше по улице. В гости к одному человеку. И ему ты ее вернешь.

БЕКМАН. Что верну?

ДРУГОЙ. Ответственность.

БЕКМАН. В гости к одному человеку? Да, да, пойдем. И ответственность я ему верну. Да, да, пойдем. Хочу хоть ночь проспать без одноногих. Я ему верну ее. Принесу ее с собой и отдам. Отдам назад мертвых. Ему! Идем же, идем к человеку, который живет в теплом доме. В этом городе, в любом городе. В гости к этому человеку, мы ему что-нибудь подарим — славному, хорошему, достойному человеку, который всю жизнь выполнял свой долг, и всегда только долг! Но это был лютый долг! Страшный долг! Заклятый, проклятый, треклятый долг. Пошли! Пошли!

СЦЕНА ТРЕТЬЯ.

Комната. Дверь скрипит и захлопывается. ПОЛКОВНИК и его семейство. БЕКМАН.

БЕКМАН. Приятного аппетита, господин полковник!

ПОЛКОВНИК (*жует*). Как, простите?

БЕКМАН. приятного аппетита, господин полковник!

ПОЛКОВНИК. Вы врываетесь во время ужина! Что, у вас такое неотложное дело?

БЕКМАН. Нет. Я только хотел выяснить, утоплюсь я сегодня ночью или останусь в живых. А если я останусь в живых, сам не знаю, — как, то в этом случае мне бы хотелось днем изредка что-нибудь поесть. А ночью, ночью хотелось бы поспать. Ничего больше.

ПОЛКОВНИК. Но-но-но-но! Это не по-мужски нести такой вздор. А еще были солдатом, а?

БЕКМАН. Нет, господин полковник.

ЗЯТЬ. Как это нет? Вы же в военной форме.

БЕКМАН (*монотонно*). Да. Шесть лет. Но я все думал, если я десять лет буду носить форму почтальона, то ведь почтальоном я от этого не стану.

ДОЧЬ. Папочка, спроси его еще раз, чего ему, собственно, надо. Он все время смотрит мне в тарелку.

БЕКМАН (*дружелюбно*). Ваши окна с улицы кажутся до того теплыми. Мне хотелось вспомнить, что чувствуешь, глядя в такие окна. Изнутри, я имею в виду, изнутри. Знаете ли вы, каково видеть эти светлые теплые окна, когда ты дрогнешь ночью на улице?

МАТЬ (*беззлобно, скорее с ужасом*). Отец, вели ему снять эти очки. Меня в дрожь бросает, когда я на них смотрю.

ПОЛКОВНИК. Это так называемые противогазные очки, моя дорогая. Были в тысяча девятьсот тридцать четвертом году введены в вермахте для ношения под противогазом солдатами со слабым зрением. Почему вы не выбросите эту дрянь? Война окончена.

БЕКМАН. Да-да. Окончена. Это вы все говорите. Но очки мне еще нужны. Я близорук, без очков у меня все расплывается перед глазами. А так я что хочешь угляжу. Я отсюда отлично вижу, что у вас на столе.

ПОЛКОВНИК (*прерывает его*). Скажите на милость, откуда у вас такая нелепая прическа? Вы что, сидели? Хороших дел натворили, а? Ну, ну, не стесняйтесь, залезли к кому-нибудь? Да? И попались?

БЕКМАН. Так точно, господин полковник. Залез. В Сталинград, господин полковник. Но наступление захлебнулось, и они нас сцапали. Три года мы заработали, все сто тысяч ребят. А наш капитан облачился в штатское и жрал икру. Три года подряд жрал икру. Другие лежали под снегом, и во рту у них был степной песок. Мы хлебали горячую воду. А капитан ел икру. Три года подряд. Нам они сбрили головы. До самой шеи — или до волос, за точностью никто не гнался. Счастливчиками были те, кому ампутировали голову. Им, по крайней мере, не надо было вечно жрать икру.

ЗЯТЬ (*с возмущением*). Как тебе это нравится, отец? А? Как тебе это нравится?

ПОЛКОВНИК. Мой юный друг, вы очень уж сгущаете краски. Мы же с вами немцы. Так давайте держаться нашей доброй немецкой правды. Кто высоко несет правду, тот и марширует лучше всех, — говорит Клаузевиц.

БЕКМАН. Так точно, господин полковник. Прекрасно сказано, господин полковник. Я горой стою за правду. Мы уже наедимся досыта, господин полковник, до отвала, господин полковник. Наденем новешенькую рубашку и костюм с пуговицами и без дыр. А дальше затопим печку, господин полковник, у нас ведь есть печка, господин полковник, и чайник поставим, чтобы немножко грога приготовить. А дальше спустим шторы и усядемся в кресло, кресло-то ведь у нас есть. И вдыхать будем прелестные духи нашей супруги, а не кровь, правда ведь, господин полковник, не кровь, и будем радоваться чистой постели, которая у нас есть, у нас обоих, господин полковник, и уже дожидается нас в спальне, мягкая, белая, теплая. И тогда мы высоко понесем правду, господин полковник, нашу добрую немецкую правду.

ДОЧЬ. Он сумасшедший.

ЗЯТЬ. Да что там, просто пьяный.

МАТЬ. Отец, кончай. Меня в дрожь бросает от этого человека.

ПОЛКОВНИК (*беззлобно*). У меня определенно создалось впечатление, что вы из тех, у кого от нескольких годочков войны помутился разум и спутались представления. Почему вас не произвели в офицеры? Это бы дало вам доступ в совсем другие круги общества. У вас была бы добропорядочная жена и сейчас был бы уже добропорядочный дом. Вы были бы другим человеком. Почему вы не стали офицером?

БЕКМАН. У меня голос слишком тихий, господин полковник, голос слишком тихий.

ПОЛКОВНИК. Вот видите, вы слишком тихий. Говоря по-честному, вы из тех, что немножко устали, малость пообмякли, а?

БЕКМАН. Так точно, господин полковник. Вот именно. Немножко я тихий. Малость пообмяк. И устал, господин полковник, устал, устал, устал! Я не сплю, господин полковник. Оттого я и пришел сюда, оттого я и пришел к вам, господин полковник, что знаю: вы можете мне помочь. Я хочу, наконец, выспаться! Больше я ведь ничего и не хочу. Только выспаться! Только спать! Крепко, крепко спать.

МАТЬ. Отец, не уходи. Я боюсь. Меня в дрожь бросает от этого человека.

ДОЧЬ. Глупости, мама. Просто он вернулся с войны немножко тронутый. Такие совершенно безвредны.

ЗЯТЬ. А я считаю, что этот господин довольно нахален.

ПОЛКОВНИК (*задумчиво*). Вы уж не вмешивайтесь, друзья мои, я знаю этих типов по военной службе.

МАТЬ. Боже мой, да он стоя спит.

ПОЛКОВНИК (*почти по-отечески*). С такими надо построже. Не вмешивайтесь — и все будет в порядке.

БЕКМАН (*он далеко-далеко*). Господин полковник?

ПОЛКОВНИК. Слышу, слышу.

БЕКМАН (*сонно, мечтательно*). Вы слышите, господин полковник? Тогда хорошо. Если вы слышите, господин полковник. Я расскажу вам свой сон, господин полковник. Я вижу его каждую ночь. И просыпаюсь оттого, что кто-то так страшно кричит. И знаете, кто это кричит? Я сам, господин полковник, я сам. Ерунда, верно, господин полковник? И уже не могу больше заснуть. Всю ночь не могу, господин полковник. Вы подумайте, господин полковник, ночи напролет лежать без сна. Оттого я так и устал, господин полковник, так ужасно устал.

МАТЬ. Отец, не уходи. Меня дрожь пробирает.

ПОЛКОВНИК (*заинтересованно*). И от этого сна вы просыпаетесь? Так ведь?

БЕКМАН. Нет, от крика. Не от сна. От крика.

ПОЛКОВНИК (*заинтересованно*). Но это сон заставляет вас кричать, да?

БЕКМАН. можете себе представить, да. Сон заставляет. Очень странный сон, надо вам сказать. Я сейчас расскажу. Вы меня слушаете, господин полковник, правда? Стоит человек и играет на ксилофоне. В бешеном ритме играет. При этом он потеет, этот человек, потому что он очень жирный. И играет на гигантском ксилофоне. А ксилофон такой огромный, что человек все время должен носиться взад и вперед. При этом он потеет, он и вправду очень уж жирный. Но не п***о***том потеет, вот что самое страшное. Он потеет кровью, дымящейся, темной кровью. И кровь двумя широкими красными полосами сбегает у него по штанам, так что издали он выглядит как генерал. Как генерал! Жирный, кровавый генерал. Видно, закаленный в боях генерал, потому что у него нет обеих рук. И он играет двумя длинными тонкими протезами, они похожи на рукоятку ручной гранаты, деревянные, с металлическим кольцом. Он очень необычный музыкант, этот генерал, потому что молоточки его гигантского ксилофона вовсе не деревянные. Нет, вы поверьте мне, господин полковник, поверьте мне, они из костей. Поверьте мне, господин полковник, из костей.

ПОЛКОВНИК (*тихо*). Да, я верю. Из костей.

БЕКМАН (*все еще как в трансе, мертвенным голосом*). Не деревянные, из костей. Странные такие, белые кости. У него там черепные коробки, лопатки, тазобедренные суставы. А для более высоких тонов кости рук и ног. И еще ребра — много тысяч ребер. А на конце ксилофона, где расположены самые высокие тона, там кости пальцев. Ну а уж в самом конце — зубы. Вот на каком ксилофоне играет толстяк с генеральскими лампасами. Правда, комичный музыкант, этот генерал?

ПОЛКОВНИК (*неуверенно*). Да, комичный. Очень, очень комичный!

БЕКМАН. И тут только все и начинается. Сон только начинается. Стоит, значит, генерал перед гигантским ксилофоном из человечьих костей и своими протезами отбарабанивает марш “Слава Пруссии” или “Банвейлерский”. Но чаще всего он играет “Въезд гладиаторов” и “Старые товарищи бойцы”, чаще всего. Вы же помните, господин полковник, “Старые товарищи бойцы”? (*Напевает.*)

ПОЛКОВНИК. Да, да. Конечно. (*Тоже напевает.*)

БЕКМАН. И тут они встают. Гладиаторы держат свой въезд, старые товарищи бойцы. Встают из братских могил, и их кровавый стон смердит до белого месяца в небе. Оттого и ночи такие. Горькие, как кошачье дерьмо. Красные, красные, как малиновый сироп на белой рубашке. В такие ночи нечем дышать. И мы задыхаемся, если нет у нас губ, которые можно целовать, водки, которую можно пить. До месяца, до белого месяца, господин полковник, смердит кровавый стон, когда идут мертвецы, мертвецы в малиновых пятнах.

ДОЧЬ. Вы что, не слышите, он же сумасшедший? Месяц у него, видите ли, белый! Белый! Месяц!

ПОЛКОВНИК (*трезво*). Вздор! Месяц, конечно, всегда желтый, всегда. Как медовая коврижка, как омлет, и всегда был желтый.

БЕКМАН. ах нет, господин полковник, нет! В ночи, когда идут мертвецы, он белый и большой. Тогда он — как живот беременной девушки, утопившейся в ручье. Тоже круглый, тоже большой, тоже белый. Нет, господин полковник, месяц белый в ночи, когда идут мертвецы и их кровавый стон нестерпимо, как кошачье дерьмо, смердит, до белого, большого круглого месяца. Кровь! Кровь! Тогда они встают из братских могил, в истлевших повязках, в окровавленных мундирах. Тогда подымаются они из океанов, из степей, с дорог, из лесов выходят они, из болот и развалин, почерневшие от холода, зеленые, тронутые тлением. Из степи встают, одноглазые, беззубые, безногие, с выпущенными кишками, с пробитым черепом, без рук, издырявленные, смердящие, слепые. Как полая вода, прибывают страшные толпы. Необозримо их число, нестерпимы их муки! Бескрайнее море трупов выходит из могильных берегов и разливается над миром широко, вязко, зловонно, кроваво. И тут генерал с кровавыми лампасами говорит мне: Унтер-офицер Бекман, ответственность ложится на вас. Прикажите рассчитаться. И вот я со своей ответственностью уже стою перед миллионами оскалившихся скелетов, обрубков, останков и приказываю: Рассчитайтесь! Но братья мои и не думают рассчитываться. Они страшно щелкают челюстями, но рассчитываться — нет. Генерал приказывает пятьдесят приседаний. Трухлявые кости хрустят, свистят легкие, но рассчитываться — нет! Разве это не мятеж, господин полковник, не открытый мятеж?

ПОЛКОВНИК (*шепчет*). Да, открытый мятеж!

БЕКМАН. Они не желают рассчитываться на первый-второй. Но, разъединенные, они объединяются, образуют хор. Громовый, грозный, гудящий. И знаете, что они ревут, господин полковник?

ПОЛКОВНИК (*шепчет*). Нет.

БЕКМАН. Бекман! — ревут они. Унтер-офицер Бекман! Без конца. Унтер-офицер Бекман! И рев нарастает. Все ближе подкатывает рев, звериный рев, так, верно, бог кричит, чужой, холодный, гигантский. А рев все катится и нарастает, катится и нарастает! И уже становится таким огромным, таким удушающим и огромным, что я задыхаюсь. И тогда я кричу, кричу что есть мочи впотьмах. Тогда я должен кричать, страшно, страшно кричать. И от крика я просыпаюсь. Каждую ночь. Каждую ночь концерт на ксилофоне из костей, и каждую ночь эти хоры, и каждую ночь страшный крик. И заснуть я уже не могу, потому что ответственность-то была возложена на меня. На меня была возложена ответственность. Да, на меня. Я потому и пришел к вам, господин полковник, что хочу наконец спокойно спать. Потому и пришел к вам, что хочу спать. Наконец-то спать спокойно.

ПОЛКОВНИК. Чего же вам от меня нужно?

БЕКМАН. Я хочу отдать ее вам назад.

ПОЛКОВНИК. Что отдать назад?

БЕКМАН (*почти напевно*). Ответственность. Я принес ее вам обратно. Разве вы забыли, в чем дело, господин полковник? Четырнадцатое февраля забыли? под Городком. Было сорок два градуса мороза. Вы прибыли на наши позиции, господин полковник, и сказали: Унтер-офицер Бекман! — Здесь! — крикнул я. Тогда вы сказали, и ваше дыхание обручем повисло на меховом воротнике — я как сейчас это вижу, потому что у вас был прекрасный меховой воротник, — тогда вы сказали: Унтер-офицер Бекман, вы будете в ответе за двадцать человек. Вы разведаете лес восточнее Городка и постараетесь захватить нескольких пленных, ясно? — Так точно, господин полковник, — сказал я. И мы ушли в разведку. А я, я был в ответе. Всю ночь мы разведывали лис, потом началась перестрелка, а когда мы вернулись на свою позицию, недоставало одиннадцати человек. И я был в ответе. Вот и все, господин полковник. Но теперь война кончилась, теперь я хочу выспаться, теперь я отдаю вам назад ответственность, господин полковник, ни к чему она мне, я отдаю ее вам назад, господин полковник.

ПОЛКОВНИК. Но, милый мой Бекман, вы напрасно так волнуетесь. Совсем не это имелось в виду.

БЕКМАН (*внешне спокойно, но со страшным волнением*). И все же, господин полковник. Все же именно это имелось в виду. Ответственность — это же не только слово, не химическая формула превращения светлого человеческого тела в темную землю. Нельзя же гнать людей на смерть за пустое слово. Куда-то ведь надо пристроить эту ответственность. Мертвые ответственности не имут. Бог ответственности не имет. А живые, они-то спрашивают. Каждую ночь спрашивают, господин полковник. Когда я лежу без сна, они приходят и спрашивают. Женщины, господин полковник, убитые горем, одетые в траур женщины. Старые женщины, седоволосые, с потрескавшимися руками, молодые женщины с одиноким тоскующим взором. И дети, господин полковник, дети, куча маленьких детей. И они шепчут из темноты: Унтер-офицер Бекман, где мой отец, унтер-офицер Бекман, где мой муж, унтер-офицер Бекман, где мой сын, унтер-офицер Бекман, где мой брат, унтер-офицер Бекман, где мой жених, унтер-офицер Бекман? Унтер-офицер Бекман, где? где? где?Так они шепчут до рассвета. И всего только одиннадцать женщин, господин полковник, ко мне приходят только одиннадцать. А к вам, господин полковник? Тысяча? Две тысячи? Вы хорошо спите, господин полковник? Тогда для вас ведь несущественно, если я вам подбавлю ответственность еще за одиннадцать. Вы можете спать, господин полковник? несмотря на две тысячи ночных призраков? Да? Вы можете жить, господин полковник? Можете прожить хоть одну минуту и не кричать? Господин полковник, господин полковник, вы хорошо спите по ночам? Да? Тогда для вас это несущественно, тогда, значит, мне можно выспаться наконец — если вы будете так добры и возьмете ее обратно, ответственность. Тогда мне можно будет наконец выспаться, со спокойной душой выспаться. Душевный покой, вот оно самое, душевный покой, господин полковник! И тогда: спать! Господи!

ПОЛКОВНИК (*у него все-таки сперло дыхание. Но он смехом разгоняет стеснение в груди, не злобно, впрочем, а скорее грубовато, игриво и добродушно, однако говорит очень неуверенно*). Молодой человек, молодой человек! В толк не возьму, никак в толк не возьму. Вы что, тайный пацифист, что ли? Не без бунтарства, а? Но... (*он смеется сначала смущенно, затем верх берет его здоровая прусская сущность, и он хохочет во всю глотку*) голубчик мой, голубчик мой! Да вы, видно, плутишка, а? Верно я говорю? Как? Плут, плут и есть. (*Хохочет.*) молодцом, дружище, молодцом! Ну, вы ловкач! Один этот глубочайший юмор чего стоит! Да вы знаете (*хохочет и прерывает себя*) с этой штукой, с этим номером, я хочу сказать, вам надо на сцену! Да, да, на сцену! (*Полковник не хочет обидеть Бекмана, но он здоров, простодушен, солдат до мозга костей, и сон Бекмана воспринимает как остроумную шутку.*) Эти идиотские очки, эти волосы, торчащие во все стороны! Вам надо исполнять ваш номер под музыку. (*Хохочет.*) Бог ты мой, и выдумает же человек такой сон! Приседания, приседания под звуки ксилофона! Нет, голубчик, на сцену, на сцену! То-то люди будут хохотать, животики надорвут! О господи!!! (*Хохочет до слез и отдувается.*) Я сначала и не смекнул, что вы хотите показать такой смешной номер. Я думал, вы правда немножко умом тронулись. Я и не подозревал, какой вы замечательный комик. Ну вот, голубчик, вы доставили нам большое удовольствие, и я хочу, в свою очередь, порадовать вас. Знаете что? Подите-ка вниз к моему шоферу, возьмите там горячей воды, умойтесь, сбрейте бороду. Приведите себя в человеческий вид. И затем скажите шоферу, чтобы он дал вам один из моих старых костюмов. Да, я говорю серьезно. Сбросьте эти отрепья, наденьте мой старый костюм, да, да, спокойно можете принять его, и вы снова станете человеком, милый вы юноша! Снова станете человеком!

БЕКМАН (*просыпается и выходит из своей апатии*). Человеком? Человеком стать? Стать снова человеком? (*Кричит.*) Мне стать человеком? Да вы-то люди, что ли? А?

МАТЬ (*пронзительно вскрикивает, что-то опрокидывается и падает*). Нет! Он нас убьет! Не-е-ет!

Отчаянная суматоха, взволнованные голоса вперемешку.

ЗЯТЬ. Держи лампу!

ДОЧЬ. Помогите! Свет погас! Мать опрокинула лампу.

ПОЛКОВНИК. Спокойствие, дети мои!

ЗЯТЬ. Где же лампа?

МАТЬ. Свет, свет зажгите.

ПОЛКОВНИК. Да вот она, вот.

МАТЬ. Слава богу, опять светло

ЗЯТЬ. А этот тип исчез. Я сразу понял, что он псих, этот голубчик.

ДОЧЬ. Одна, две, три, четыре. Нет, все на месте. Только блюдо разбилось.

ПОЛКОВНИК. К черту! Ради чего он валял дурака и что имел в виду?

ЗЯТЬ. Может, он и вправду только бесноватый?

ДОЧЬ. Смотрите, бутылка с ромом исчезла.

МАТЬ. Ах, боже мой, твой чудный ром, отец!

ДОЧЬ. И половины хлеба тоже нет.

ПОЛКОВНИК. Что вы там про хлеб?

МАТЬ. Хлеб унес? Да на что он ему?

ЗЯТЬ. Может, он хочет его съесть. Или заложить. Выходцы из низов ни перед чем не останавливаются.

ДОЧЬ. Может, он и правда хочет его съесть.

МАТЬ. Это сухой-то хлеб?

Дверь скрипит и захлопывается.

БЕКМАН (*снова на улице. В бутылке булькает жидкость*). Люди правы. (*Все больше пьянеет.*) Ваше здоровье, ох, согревает. Нет, люди правы. Ваше здоровье. Что нам горевать о мертвых, когда самим хоть в петлю лезь? Ваше здоровье. Люди правы. Мертвецами нас уже совсем завалило. Вчера десять миллионов. А сегодня все тридцать. Завтра явится какой-нибудь тип и взорвет целую часть света. На следующей неделе другой придумает, как десятью граммами яда за семь секунд уничтожить все живое. А нам горевать? Ваше здоровье. Мне вот кажется, что со временем надо будет присмотреть для себя другую планету. Ваше здоровье! Эти люди правы. Пойду-ка я в цирк. Правы они, правы, старина! Полковник со смеху чуть не окочурился! Он говорит: мне только на сцену идти. И то верно, хромой, в такой шинели, с таким рылом, да еще с очками на этом рыле и со щетиной на голове. Полковник прав, публика лопнет со смеху. Ваше здоровье. Да здравствует полковник! Он мне жизнь спас. Виват, господин полковник! Да здравствует кровь! Да здравствует издевка над мертвыми! Пойду в цирк, публика со смеху лопнет, когда начнется эта свистопляска мертвецов в море крови. А ну-ка еще разок приложимся к бутылке, ваше здоровье. Спиртное мне жизнь спасло, мой разум вдребезги пьян! Ваше здоровье! (*Хвастливо и пьяно.*) У кого есть спиртное, или постель, или девушка, тот пусть сегодня смотрит свой последний сон! Завтра, может быть, уже поздно будет! Пусть построит из своего сна Ноев ковчег и плывет себе с вином и песнями по водам ужаса туда, в вечный мрак. Остальные потонут в страхе и отчаянии! У кого спиртное, тот спасен! Ваше здоровье! Да здравствует кровавый полковник! Да здравствует кровавый полковник! Да здравствует ответственность! Хайль! Я иду в цирк! Да здравствует цирк! Весь гигантский необозримый цирк!

СЦЕНА ЧЕТВЕРТАЯ.

Комната. ДИРЕКТОР кабаре. БЕКМАН, все еще под хмельком.

ДИРЕКТОР (*убежденно*). Видите ли, именно в искусстве нам теперь нужна молодежь, занимающая активную позицию во всех вопросах. Мужественная, трезвая…

БЕКМАН (*про себя*). Трезвая, да, прежде всего трезвая.

ДИРЕКТОР. … революционная молодежь. Нам нужен ум вроде Шиллера, который в двадцать лет написал своих “Разбойников”. Нам нужны Граббе и Генрих Гейне! Нужен ум, острый и проникновенный. Антиромантическая, крепкая молодежь, которая не гнушается окружающей действительностью, умеет спокойно относиться к темным сторонам жизни, несентиментальная, объективная, во всем разбирающаяся. Нам нужны молодые люди, новое поколение, способное видеть и любить жизнь такой, какова она есть. Правдолюбивая, инициативная, идейная молодежь. Пусть эти идеи не будут такой уж глубокой мудростью. И даже желательно, чтоб они не были чем-то законченным, зрелым, сугубо серьезным. Всего-навсего вскрик, вскрик их сердец. Вопрос, надежда, голод!

БЕКМАН (*про себя*). Голод? О, этого у нас хоть отбавляй.

ДИРЕКТОР. Лишь бы она была молодой, эта молодежь, страстной и отважной. Именно в искусстве! Взгляните-ка на меня: в семнадцать лет я уже выступал на подмостках кабаре, издевался над обывателем, портил ему удовольствие от сигары. Если нам сейчас чего и не хватает, так это авангардистов, представляющих серое, живое, страдальческое лицо нашего времени!

БЕКМАН (*про себя*). Да, да, представлять. Лица, орудия, призраков. Что-то всегда должно быть представлено.

ДИРЕКТОР. Да, кстати, я все хочу вас спросить: почему, собственно, вы разгуливаете в таких, можно сказать, гротескных очках? Где вы, друг мой, раздобыли эту занятную штуковину? Посмотришь на вас — и плакать хочется. Ей-богу, у вас какое-то сумасшедшее сооружение на носу.

БЕКМАН (*машинально*). Да, это мои противогазовые очки. Нам их выдавали в армии, тем, у кого слабое зрение, чтобы мы и в противогазе могли разглядеть врага и его уничтожить.

ДИРЕКТОР. Но ведь война давно кончилась! Мы ведь уже давно живем самой что ни на есть мирной жизнью?! А вы все еще щеголяете в этом военном облачении.

БЕКМАН. Вы уж не обессудьте. Я только позавчера вернулся из Сибири. Позавчера? Да, позавчера!

ДИРЕКТОР. Из Сибири? Кошмар, верно? Кошмар. Ох, уж эта война! Но очки... у вас что, других нет, что ли?

БЕКМАН. Я рад, что у меня хоть такие есть. Они — мое спасение. Другого спасения у меня нет, то есть я хотел сказать — других очков нет.

ДИРЕКТОР. Как же это вы не обзавелись порядочными очками, голубчик, а?

БЕКМАН. Где мне было обзаводиться, в Сибири?

ДИРЕКТОР. Ах да, конечно. Беда с этой Сибирью! А я, можно сказать, завалился очками. Эх вы, голова! Перед вами счастливый обладатель трех пар первоклассных, чистопородных роговых очков. И заметьте себе, голубчик, настоящий рог! Желтые — для работы. Почти неприметные — для более или менее торжественных случаев. И вечерние — для сцены, черные, солидные роговые очки. Это, голубчик мой, выглядит классно, да!

БЕКМАН. А у меня нет ничего, что бы я мог предложить вам взамен одной пары очков. Я сам себе кажусь каким-то временным, наспех подремонтированным. Я знаю, какой идиотский вид у этой штуки, но что я могу сделать? Не могли бы вы мне...

ДИРЕКТОР. Что вы там вообразили, молодой человек? Я не могу лишиться ни одной пары своих очков. Все мои остроты, весь эффект номера, мое настроение — все зависит от очков.

БЕКМАН. Да, да, и мое — то же самое. Водки-то каждый день не достанешь. А когда ее нет, жизнь, точно свинец, — твердая, серая, ничто не стоющая. Но для сцены эти вопиющие к небесам очки даже лучше, пожалуй.

ДИРЕКТОР. То есть?

БЕКМАН. Я хочу сказать: смешнее. Люди будут до колик смеяться, глядя на меня в этих очках. Да еще моя прическа и шинель. И на лицо посмотрите, на мое лицо! Ведь это все неимоверно смешно, не правда ли?

ДИРЕКТОР (*на душе у него становится тревожно*). Смешно? Смешно? Да у людей смех станет поперек глотки, любезный мой. При виде вас у них мурашки побегут по спине. Люди хотят возвышенных впечатлений и поучительных тоже, хотят наслаждаться искусством, а не смотреть на мокрый холодный призрак. Нет, так мы вас выпустить не можем. Публике мы должны казаться до некоторой степени необычными, резвыми, должны возвышаться над нею. Позитивность! Позитивность, дорогой мой! Вспомните о Гете! Вспомните о Моцарте! Об Орлеанской деве, Рихарде Вагнере, Шмелинге, Ширли Темпл!

БЕКМАН. Против таких имен мне, конечно, не выстоять. Я всего-навсего Бекман. Спереди Б — сзади екман.

ДИРЕКТОР. Бекман? Бекман? Что-то не вспомню, в каком кабаре... или вы работали под псевдонимом?

БЕКМАН. Нет, я новичок. Начинающий я.

ДИРЕКТОР (*полностью перестроился*). Вы начинающий? Ну-с, дорогой мой, так просто в жизни не бывает. Вы уж очень упрощенно себе это представляете. Тяп-ляп карьеры не сделаешь! Вы недооцениваете ответственность, которую несем мы, предприниматели. Выпустить на сцену начинающего — это пахнет прогаром. Публике подавай имена.

БЕКМАН. Гете, Шмелинг, Ширли Темпл или что-то в этом роде. Так?

ДИРЕКТОР. Именно так. Но начинающие? Новички, безвестные? Сколько вам лет?

БЕКМАН. Двадцать пять.

ДИРЕКТОР. То-то и оно. Повидайте-ка сначала свет, мой юный друг. Внюхайтесь хорошенько в жизнь. Что вы делали до сих пор?

БЕКМАН. Ничего. Мерз. Стрелял. Голодал. Война ведь. Больше ничего.

ДИРЕКТОР. Больше ничего? Ну, это, пожалуй, маловато. Надо вам еще дозреть на житейском поле битвы, друг мой. Поработайте. Составьте себе имя — и мы выпустим вас в качестве гвоздя программы. Изучите сначала жизнь, а потом приходите. Станьте человеком, заработайте себе имя!

БЕКМАН (*до сих пор спокойный и вялый, постепенно начинает волноваться*). А где мне прикажете начинать? Где? Когда-нибудь где-нибудь ведь должна найтись зацепка. Где-то должен начинающий начинать. В России нам не ветер дул навстречу, а металл, массы металла. Горячего, твердого бессердечного металла. Где же нам прикажете начинать? Где? Мы хотим, хотим наконец начать! Чудак человек!

ДИРЕКТОР. Чудака можете оставить при себе! В конце концов не я вас загнал в Сибирь. Безусловно не я.

БЕКМАН. Нас никто в Сибирь не загонял. Мы все туда сами отправились. Все — по собственному желанию. И некоторые там остались — по собственному желанию. Под снегом, под песком. У них была зацепка, у оставшихся, у мертвецов. Но мы-то, мы, нам негде начать. Негде.

ДИРЕКТОР (*смирившись*). Как вам будет угодно! Что ж, раз так — начинайте. Прошу. Встаньте вон туда. Приступайте. Да не канительтесь так долго. Время — деньги. Итак, прошу. Будьте любезны, начинайте. Я дарю вам ваш счастливый случай. Вам чертовски повезло, мое ухо к вашим услугам. Цените это, молодой человек, цените, говорю вам! Итак, с богом, начинайте! Прошу. Ага! вот!

Тихо играет ксилофон. Слышна мелодия “Маленькой смелой солдатки”.

БЕКМАН (*поет, скорее даже говорит, тихо, вяло и монотонно*).

Маленькая смелая солдатка,

В песенке все складывалось гладко,

Только правды нет в ее словах.

Ведь на самом деле дело швах.

Хохотал весь свет.

Я ж от боли взвыл.

День пошел на нет.

Ночь. Туман поплыл.

И было мне видно,

Как месяц сквозь дыру гардин

Смеялся ехидно.

Возвратился я домой некстати.

Место занято в моей кровати.

Было впору сразу в петлю лезть.

Но всегда на это время есть.

Хохотал весь свет.

Я ж от боли взвыл.

День пошел на нет.

Ночь. Туман поплыл.

И было мне видно,

Как месяц сквозь дыру гардин

Смеялся ехидно.

Мне другая встретилась девица.

Было просто с ней договориться.

Раз, два, три — и с ходу шасть в кровать.

А Германии на нас наплевать.

Мы, конечно, ночью не скучали.

А под утро в двери постучали.

На одной ноге явился муженек.

Я тотчас пустился наутек.

Хохотал весь свет.

Я ж от боли взвыл.

День пошел на нет.

Ночь. Туман поплыл.

И было мне видно,

Как месяц сквозь дыру гардин

Улыбался ехидно.

И брожу с рассвета до заката.

Песенку пою, что пел когда-то.

О грешной и скверной,

О грешной и скверной,

О нежной и верной жене солдата[[1]](#footnote-2).

Ксилофон замолкает.

ДИРЕКТОР (*трусливо*). Не так плохо, право, совсем не плохо. Даже очень недурно. Для начинающего очень и очень недурно. Но в целом, конечно, недостаточно остроумно, мой юный друг. Недостаточно блестит и переливается. Лоску маловато. И, разумеется, это еще не готовый номер. Тембр не тот, и нет той неброской пикантной эротики, которой непременно требует тема супружеской измены. Публика любит, чтобы ее щекотали, а не щипали. В остальном совсем недурно, если учесть вашу молодость. Этики и глубокой проникновенности, безусловно, маловато, но, как сказано: для начинающего совсем недурно! Пока еще несколько плакатно, топорно, пожалуй...

БЕКМАН (*тупо, про себя*). Топорно.

ДИРЕКТОР. И слишком громко. слишком вяло, понимаете? Вам, из-за вашей молодости, не хватает резвого...

БЕКМАН (*тупо, про себя*). ... резвого.

ДИРЕКТОР. ... спокойствия, сознания превосходства. Подумайте о нашем великом старике Гете. Гете отправился вместе со своим герцогом в поход... и у походного костра написал оперетту.

БЕКМАН (*тупо, про себя*). Оперетту.

ДИРЕКТОР. Вот это гений! Вот это ощущение дистанции!

БЕКМАН. Да, надо признаться, дистанция изрядная.

ДИРЕКТОР. Милый мой друг, давайте подождем еще годочек-другой.

БЕКМАН. Ждать? Но я голоден! Я должен работать!

ДИРЕКТОР. Искусство требует зрелости. Ваш номер пока еще не элегантен, чувствуется отсутствие опыта. Все это слишком серо, слишком обнажено. Вы мне публику обозлите. Нет, мы не вправе потчевать ее черным хлебом...

БЕКМАН (*тупо, про себя*). ... черным хлебом.

ДИРЕКТОР. ... если она хочет бисквита. Наберитесь терпения. Это, как я сказал, уже вполне сносно, но это еще не искусство.

БЕКМАН. Искусство, искусство! Но ведь это же правда!

ДИРЕКТОР. Да, правда! Но искусство ничего общего с правдой не имеет!

БЕКМАН (*тупо, про себя*). Как видно, нет.

ДИРЕКТОР. На правде далеко не уедешь.

БЕКМАН (*тупо, про себя*). Как видно, нет.

ДИРЕКТОР. Вы только всех от себя отвратите. Чтобы с нами сталось, если бы все вдруг вздумали говорить правду! Кому она нужна в наши дни? Кому, спрашивается? Вот истинное положение вещей, рекомендую вам об этом не забывать.

БЕКМАН (*горько*). Да-да. Понимаю. И благодарю. Постепенно начинаю понимать. Истинное положение вещей, о котором не следует забывать (*его голос становится все тверже, а при скрипе двери уже совсем громким*), не следует забывать: на правде далеко не уедешь. Правдой только всех отвратишь от себя. Кому в наше время нужна правда? (*Громко.*) Да, медленно, но я понимаю, таково истинное положение вещей... (*Бекман уходит не прощаясь. Дверь скрипит и захлопывается.*)

ДИРЕКТОР. Но молодой человек! Откуда такая чувствительность?

БЕКМАН (*в отчаянии*). .

Выпита водка,

Ночи и дни

Грязнее, грязнее

Грязной свиньи.

Дорога к Эльбе прямая.

ДРУГОЙ. Стой, Бекман! Вот дорога! Здесь, поверху!

БЕКМАН. От этой дороги разит кровью. Здесь они прирезали правду. Моя дорога ведет к Эльбе и проходит здесь, понизу.

ДРУГОЙ. Пойдем, Бекман, не надо отчаиваться! Правда жива!

БЕКМАН. С правдой дело обстоит, как со шлюхой, известной всему городу. Каждый ее знает, но каждому неприятно встретить ее на улице. С такими надо соблюдать тайну и встречаться под покровом ночи. Днем она серая, грубая, безобразная, и шлюха эта и правда. Многим ее за всю жизнь не переварить.

ДРУГОЙ. Пойдем, Бекман, где-нибудь всегда отыщется открытая дверь.

БЕКМАН. Да, для Гете. Для Ширли Темпл или Шмелинга. Но я только Бекман, Бекман в дурацких очках и с дурацкой прической. Бекман с хромой ногой, в шинели, смахивающей на шубу рождественского деда. Я всего-навсего скверная шутка, которую устроила война, призрак вчерашнего дня. И оттого, что я Бекман, а не Моцарт, оттого все двери заперты. Хлоп! И я остался на улице. Хлоп! Опять то же самое. Хлоп! И тут не иначе. Хлоп! На улице. По-прежнему на улицею Хлоп! Я начинающий, и оттого мне негде начать. Я тихий, и оттого не сделался офицером! Я слишком громкий и могу напугать публику. И оттого, что у меня есть сердце, которое ночью кричит по мертвым, оттого говорят, что мне еще только предстоит сделаться человеком. В костюме господина полковника.

Мы дуем водку.

А ночи и дни

Грязнее, грязнее

Грязной свиньи.

Улица воняет кровью, оттого что на ней прирезали правду, и все двери закрыты. Я хочу домой, но все улицы темны. Освещена только эта, что идет вниз к Эльбе. О, как на ней светло!

ДРУГОЙ. Стой, Бекман! Вот здесь твоя улица. Она ведет домой. Тебе надо домой, Бекман. Твой отец сидит в своей комнате и ждет. А твоя мать уже стоит у дверей. Она узнала твои шаги.

БЕКМАН. Господи! Домой! Да, я хочу домой. Хочу к своей матери! Наконец-то к ней!!! К своей...

ДРУГОЙ. Идем. Вот твоя улица. О том, куда надо идти первым делом, всегда вспоминаешь под конец.

БЕКМАН. Домой, там моя мать, моя мать...

СЦЕНА ПЯТАЯ

Дом. Дверь. БЕКМАН.

БЕКМАН. Наш дом еще стоит! И дверь в нем есть. Дверь для меня. Там моя мать, она откроет дверь и впустит меня. Подумать только, наш дом еще стоит! И лестница все также скрипит. И эта дверь — наша. Отец каждое утро выходит из нее ровно в восемь часов. И приходит обратно каждый вечер. Кроме воскресений. По воскресеньям он расхаживает по дому со связкой ключей и что-то бурчит себе под нос. Каждый день. Всю жизнь. А моя мать входит и выходит. Три раза, семь раз, десять раз на дню. Каждый день. Всю жизнь. Всю долгую жизнь. Вот наша дверь. За нею мяучит дверь в кухню, за нею часы скрипучим хриплым голосом отсчитывают невозвратные минуты. За нею я сидел на опрокинутом стуле, изображая мотогонщицка. За нею рыгает старый кран и кафели в кухне вздыхают, когда мать протирает их тряпкой. Вот наша дверь. За нею разматывается клубок жизни, жизни, которая всегда была одинаковой в продолжение тридцати лет. И такою же остается и сейчас. Война прошла мимо этой двери. Она ее не разбила, не сорвала с петель. Оставила нашу дверь в покое, случайно, по недосмотру. И теперь эта дверь ждет меня. Для меня она откроется. И закроется за мною, и я уже не буду стоять на улице. Дома я буду. Это же наша старая дверь, с облупившейся краской, с помятым ящиком для писем. С расшатанной белой кнопкой звонка и блестящей медной табличкой, которую моя мать начищает каждое утро, на ней стоит наше имя: Бекман... Что это? Нет больше медной таблички! Почему же ее больше нет? Кто ж это снял наше имя? И откуда взялся этот грязный кусок картона на нашей двери? С чужим именем? Что это за господин Хлам здесь проживает? Почему на двери нет больше нашего имени: Оно уже тридцать лет стоит на ней. Нельзя же его так просто смахнуть и заменить другим! Куда делась табличка? Другие имена ведь по-прежнему значатся — каждое на своей двери. Как всегда. Почему же здесь больше не значится “Бекман”? Нельзя же так просто прибить другое имя, если здесь тридцать лет подряд значилось “Бекман”. Кто такой этот Хлам?

Он звонит. Дверь скрипит и отворяется.

ФРАУ ХЛАМ (*с безразличной, ужасающей, обтекаемой приветливостью, которая страшнее всякой злобы и грубости*). Что вам угодно?

БЕКМАН. Добрый день, я...

ФРАУ ХЛАМ. Что?

БЕКМАН. Вы не знаете, куда подевалась наша медная табличка?

ФРАУ ХЛАМ. Что за “наша табличка”?

БЕКМАН. Табличка, которая всегда висела здесь.

ФРАУ ХЛАМ. Откуда мне знать?

БЕКМАН. может быть, вы знаете, где мои родители?

ФРАУ ХЛАМ. Кто такие? Кто вы такой?

БЕКМАН. Меня зовут Бекман. Я здесь родился. Это же наша квартира.

ФРАУ ХЛАМ (*становится все болтливее и нахальнее, но это не нарочитое хамство*). Ничего подобного. Это квартира наша. Вы здесь родились? Ну, это дело не мое, но квартира-то не ваша. Она принадлежит нам.

БЕКМАН. Да-да. Но куда делись мои родители? Где-то ведь должны они жить!

ФРАУ ХЛАМ. Вы сын этих людей, этих Бекманов, так вы говорите? Ваша фамилия Бекман?

БЕКМАН. Да, конечно. Я Бекман. Я и родился здесь, в этой квартире.

ФРАУ ХЛАМ. Это ваше личное дело. Меня оно не касается. Но квартира принадлежит нам.

БЕКМАН. А мои родители! Где же остались мои родители? Не могли вы мне сказать, где они находятся?

ФРАУ ХЛАМ. Вы не знаете? И уверяете, что вы их сын. Это, однако, странно. Ну, уважаемый, если вы даже этого не знаете...

БЕКМАН. Бога ради, куда же они делись, мои старики? Тридцать лет здесь прожили, и вдруг, нате вам, нет их здесь. Скажите же что-нибудь! Где-то ведь должны они быть.

ФРАУ ХЛАМ. Разумеется. Насколько мне известно: капелла пять.

БЕКМАН. Капелла пять? Что за капелла пять?

ФРАУ ХЛАМ (*раздумывает, и скорее сочувственно, чем грубо*). Капелла пять в Ольсдорфе. Вы знаете, что такое Ольсдорф? Ну, гробовой поселок, что ли. Знаете, где он находится? Возле Фюльсбюттеля. Там, наверху, три конечные остановки. В Фюльсбюттеле тюрьма, в Альстердорфе сумасшедший дом. А в Ольсдорфе кладбище. Вот они и поселились там, ваши старики. Там теперь и живут. Отошли, сове отжили, кончились. И вы будто этого не знаете?

БЕКМАН. Да что они там делают? Разве они умерли: Ведь вот только сейчас были живы. Откуда же мне это знать? Я три года пробыл в Сибири. Больше тысячи дней. Умерли? Ведь только сейчас были живы. Почему же они умерли — раньше, чем я вернулся домой? Они же ничем не болели. У отца, правда, был кашель. Но он всю жизнь кашлял. А у матери вечно мерзли ноги от кафельного пола в кухне. Но от этого ведь не умирают. Почему же они умерли? Никакой им надобности не было. Не могли же они так, ни слова не говоря, взять да и умереть.

ФРАУ ХЛАМ (*доверительно и с вульгарной сентиментальностью*). Ну и чудила же вы, сынок. Ладно, отставим. Тысяча дней Сибири, ясное дело, не шутка. Тут не удивительно, что шарики за ролики зайдут. Не сдюжили эти Бекманы, понятно? Тяжеловато было старым людям в третьей империи, вы же сами знаете. Где уж такому старику в военной форме ходить. Да и насчет евреев очень уж он был дошлый, это вы тоже знаете, раз вы его сын. Не терпел он евреев. У него желчь от них разливалась. У меня руки чешутся их всех прогнать в Палестину, то и дело кричал он. А в бомбоубежище, как бомбу сбросят, так он евреев проклинает. Активный был ваш старик, не в меру даже. И уж слишком выкладывался во время нацизма. А когда с коричневыми молодчиками было покончено, за него здорово взялись. Из-за евреев. Немножко он перебрал с еврейским вопросом. И как это человек не умел придержать свой язык? Зачем ему такая активность понадобилась? энергичный, верно, характер был у старого Бекмана. Вот после коричневорубашечников его стали на свет рассматривать, и вышло, что от старика уже одна труха осталась. Скажите, пожалуйста, я вот все смотрю и не могу от смеха удержаться, что это за дурацкую штуку вы насадили себе на нос вместо очков? Зачем вам эта ерундовина? Нельзя же ее за очки считать. У вас что, нету нормальных очков, что ли?

БЕКМАН (*машинально*). Нет, это противогазные очки, они выдавались солдатам...

ФРАУ ХЛАМ. Знаю, знаю. Слыхала. Я бы такой штуки на себя не нацепила. Лучше уж дома сидеть. Вот бы мой старик посмеялся. И знаете, что бы он вам обязательно сказал? Он бы сказал: дружище, парень, да сними ты этот забор со своей физиономии.

БЕКМАН. Продолжайте. Что с моим отцом? Говорите же. Я весь превратился в слух. Продолжайте, фрау Хлам, продолжайте, прошу вас.

ФРАУ ХЛАМ. Мне больше нечего сказать. Они вашего папу оставили при пиковом интересе. Словом, пенсии лишили. А потом старикам пришлось из квартиры убираться. Кухонная посуда — вот все, что у них осталось. Печально, конечно. Это и доконало обоих. Невмоготу им стало. Вот они окончательно и денацифицировались. Папаша-то ваш был человек решительный, тут уж ничего не скажешь.

БЕКМАН. Они… что? Денаци…

ФРАУ ХЛАМ (*скорее добродушно, чем грубо*). Денацифицировались. Мы так теперь говорим, понятно? Наше, так сказать, семейное словцо. Да, невмоготу вашим старика было. В одно прекрасное утро они оба лежали на кухне, окоченелые, синие. Глупость какая, сказал мой старик, на этом газе мы целый месяц могли бы готовить.

БЕКМАН (*тихо, но со страшной угрозой*). Мне думается, лучше будет, если вы сейчас закроете дверь, живо. Живо, слышите! Да заприте ее. Живо закрывайте дверь, говорят вам! Закрывайте!

Дверь скрипит. Фрау Хлам истерически кричит, дверь захлопывается.

(*Тихо.*) Я не выдержу! Я этого не выдержу! Не выдержу!

ДРУГОЙ. Ошибаешься, Бекман, ошибаешься! Люди и не то выдерживают.

БЕКМАН. Нет! Не хочу больше все это терпеть! Уходи! Ты, болван, говорящий *да*! Уходи!

ДРУГОЙ. Нет, Бекман. Твоя улица идет вот здесь, поверху. Пойдем, Бекман, улица-то длинная. Пойдем!

БЕКМАН. Ты скотина! Но люди это выдерживают, о да! Выдерживают на этой вот улице и еще идут дальше. Иной раз человеку не хватает воздуху или же у него появляется потребность убить. Но он продолжает вдыхать воздух и никого не убивает. Только он больше уже не кричит, не плачет. Это можно выдержать. Двое мертвецов. Кто в наши дни говорит о такой мелочи!

ДРУГОЙ. Успокойся, Бекман, пойдем.

БЕКМАН. Досадно, конечно, если эти двое мертвецов как раз твои родители. Но двое умерших стариков? Газу жалко. На нем целый месяц можно было бы готовить.

ДРУГОЙ. Не вслушивайся, Бекман. Идем. Улица идет.

БЕКМАН. Не вслушиваться! У меня ведь есть сердце, и оно кричит, есть сердце, жаждущее убийства. Жалкая тварь, а не сердце, если оно жаждет убийства этих двух несчастных, что сокрушаются о газе! Есть сердце, и оно хочет спать, глубоко в Эльбе, спать, понял ты? Сердце докричалось до хрипоты, и никто его не услышал. Здесь, внизу, — никто. И там, наверху, — никто. Двое стариков отбыли в гробовой поселок Ольсдорф. А вчера туда, может, отправились две тысячи, позавчера, может, семьдесят тысяч. Завтра этих переселенцев будет четыре тысячи, а не то шесть миллионов. Отбывших в братские могилы всего мира. Кого это интересует? Да никого. Здесь, внизу, нет человеческого уха. Там, вверху, нету божьего. Бог спит, а мы продолжаем жить.

ДРУГОЙ. Бекман! Бекман! Не вслушивайся, Бекман. Ты все видишь сквозь свои противогазные очки. Все видишь искаженным, Бекман. Не вслушивайся, эй, ты! Были времена, Бекман, когда люди вечером, при свете зеленой лампы, читая газеты в Кейптауне, глубоко вздыхали, оттого что на Аляске во льду замерзли две девочки. Прежде ведь было так, что в Гамбурге не спали, оттого что в Бостоне похитили ребенка. Прежде могло случиться, что в Сан-Франциско горевали оттого, что в Париже разбился воздухоплаватель.

БЕКМАН. Прежде, прежде, прежде! Когда? Десять тысяч лет назад? Сегодня это отмечается только шестизначными цифрами в списках убитых. Но люди уже не вздыхают при свете зеленых ламп, они спят крепко и спокойно, если у них еще есть постель. Все до краев полны горя и молча отворачиваются друг от друга: жестокие, горестные, со впалыми щеками, сутулые, одинокие. Их кормят цифрами, которые они едва могут выговорить, так эти цифры длинны. И они означают…

ДРУГОЙ. Не вслушивайся, Бекман.

БЕКМАН. Вслушивайся, вслушивайся, покуда не подохнешь! Цифры такие длинные, что их и не выговоришь. Цифры означают…

ДРУГОЙ. Не вслушивайся…

БЕКМАН. Вслушивайся! Они означают: мертвые, полумертвые, от голоду мертвые, от бомб мертвые, от гранат мертвые, от стужи мертвые, от океана мертвые, от отчаяния мертвые, пропавшие, заблудшие, сбежавшие. И у этих цифр нулей больше, чем пальцев у нас на руках!

ДРУГОЙ. Да не вслушивайся ты! Улица ждет, Бекман, идем!

БЕКМАН. Идем, идем! А куда она ведет, скажи на милость? Где мы? Мы еще здесь? Это все еще старуха земля? И шкурой мы не обросли, а? И хвост у нас не вырос, и челюсть не стала звериной, и когтей нет, а? И мы еще ходим на двух ногах? Человек, человек, что ты за улица? Куда ты ведешь? Отвечай же, Другой, отвечай же, говорящий *да*! Отвечай, ты, извечный ответчик!

ДРУГОЙ. Ты заблудился, Бекман. Пойдем, не уходи вниз, здесь, наверху, твоя улица! Не вслушивайся. Улица идет вверх и вниз. Не вскрикивай, когда спуск будет крутой и когда стемнеет, — улица ведь идет дальше, и повсюду есть фонари: солнце, звезды, женщины, окна, лампы и открытые двери. Не кричи, если с полчаса тебе и придется постоять в тумане, впотьмах, в одиночестве. Немного погодя ты все равно повстречаешься с другими. Пойдем, мальчик, не поддавайся усталости! Не вслушивайся в сентиментальное бренчанье слащавого ксилофониста, не надо.

БЕКМАН. Не вслушивайся? И это весь твой ответ? Миллионы мертвых, полумертвых, пропавших без вести — это все безразлично? И ты говоришь: не вслушивайся. Я заблудился? Да, улица страшна, сера и обрывиста. А мы все идем по ней, хромаем, воем, терзаемся голодом, нищие, холодные, усталые! Но Эльба изрыгнула меня, как протухший кусок. Эльба не дает мне уснуть. Ты мне говоришь: живи! Жить этой жизнью? Тогда скажи мне еще: зачем? Для кого? Для чего?

ДРУГОЙ. Для самого себя! Для жизни! Твоя улица ждет, и на ней там и сям горят фонари. Неужто ты так труслив, что темнота меж двумя фонарями пугает тебя? Ты хочешь сплошных фонарей? Пойдем, Бекман, пойдем к следующему фонарю.

БЕКМАН. Я голоден, слышишь ты? Я мерзну, понял? Меня ноги не держат, слышишь, так я устал. Открой какую-нибудь дверь, эй ты. Я голоден! Улица темна, и все двери закрыты. Заткнись, говорящий *да*, побереги свои легкие для других. Я мучаюсь от тоски по родине! Тоски по матери! Я голоден, я хочу черного хлеба! Не надо мне печенья, на что оно мне? У моей матери наверняка нашелся бы для меня кусочек черного хлеба и теплые носки. И тогда я, сытый, согретый, уселся бы в мягкое кресло рядом с господином полковником читать Достоевского или Горького. Это же прелесть что такое, когда ты сыт и тебе тепло, читать о страданиях других людей и сочувственно вздыхать. Но у меня, к сожалению, глаза слипаются. Я устал как пес. Я хочу зевать, как пес зевает, во всю пасть. И ноги меня больше не держат. Я устал, слышишь ты! И больше не могу, не хочу, понял? Больше не пройду ни миллиметра. Ни…

ДРУГОЙ. Бекман, ты совсем обмяк. Пойдем, Бекман, жизнь ждет, Бекман, пойдем!

БЕКМАН. Не хочу я читать Достоевского, мне и без него страшно. Не пойду. Я устал. Эй, ты, не пойду, устал. Спать хочу. Вот здесь, перед своей дверью. Сяду на приступку, слышишь, и буду спать. Спать буду, спать, покуда стены дома не начнут трескаться и разваливаться от старости. или до следующей мобилизации. Хочу спать. Я устал, как целый зевающий земной шар.

ДРУГОЙ. Стряхни с себя сон, Бекман. Пойдем. Живи!

БЕКМАН. Этой жизнью? Нет, эта жизнь меньше, чем ничто. Я вышел из игры, слышишь, ты! Что ты сказал? Вперед, друзья, спектакль, конечно же, будет доигран до конца. Кто знает, в какой темный угол мы забьемся или к какой сладостной груди прильнем, когда занавес наконец, наконец-то задвинется. Пять серых, дождливых актов!

ДРУГОЙ. Не выходи из игры. Жизнь жива, Бекман. Живи и ты.

БЕКМАН. Молчи. Жизнь, вот она какова:

1 акт. Серое небо. Кому-то причиняют боль.

2 акт. Серое небо. Снова боль.

3 акт. Темнеет, идет дождь.

4 акт. Еще темнее. Виднеется дверь.

5 акт. Ночь, темная ночь, дверь закрыта. А ты на улице. На улице перед дверью. И ты стоишь над Эльбой, над Сеной, над Волгой, над Миссисипи. Стоишь, мысли какие-то бродят, мерзнешь, голодаешь, чувствуешь, как чертовски ты устал. Вдруг что-то плюхается, и вода разбегается хорошенькими маленькими кружочками. Тут занавес шуршит и падает. Рыбы и черви устраивают бесшумную овацию. Вот и все! Да разве это больше, чем ничто? Я — я, во всяком случае, уже не участвую в игре. Зевота меня одолевает, огромная, как мир!

ДРУГОЙ. Не спи, Бекман! Тебе надо идти дальше.

БЕКМАН. Что ты сказал? почему ты стал так тихо говорить?

ДРУГОЙ. Проснись, Бекман. Улица ждет.

БЕКМАН. Улице придется, видно, обойтись без моих усталых шагов. Почему ты так далеко отошел? Я едва-едва слышу… тебя… (*Зевает.*)

ДРУГОЙ. Бекман! Бекман!

БЕКМАН. Гм… (*Засыпает.*)

ДРУГОЙ. Бекман, да ты спишь!

БЕКМАН (*во сне*). Да, сплю.

ДРУГОЙ. Проснись, Бекман, ты должен жить!

БЕКМАН. И не подумаю просыпаться. Мне как раз снится сон. Дивно прекрасный сон.

ДРУГОЙ. Не надо видеть сны, Бекман, ты должен жить.

БЕКМАН. Жить? Куда там, мне как раз снится, что я умираю.

ДРУГОЙ. Вставай, говорят тебе, живи!

БЕКМАН. Нет. Больше не встану. Мне снится такой прекрасный сон. Я лежу на улице и умираю. Легкие отказываются работать, сердце отказывается и ноги. Весь Бекман отказывается, ты слышишь? Полный отказ в повиновении. Унтер-офицер Бекман больше не участвует. Здорово, правда?

ДРУГОЙ. Пойдем, Бекман, ты должен идти дальше.

БЕКМАН. Дальше? Дальше под гору, ты хочешь сказать, дальше под гору? A bas[[2]](#footnote-3), говорят французы. Умирать, до чего ж это хорошо, я и не думал. Смерть, наверно, вполне терпима. Никто еще не вернулся назад, оттого что не стерпел смерти. Возможно, она даже очень мила, смерть, куда милее жизни. Возможно… мне кажется, я уже на небе. Я себя больше не ощущаю; не ощущать себя — это, верно, и значит быть на небе. А вон и какой-то старик идет, он похож на господа бога. Да-да, очень похож. Только что вид у него, пожалуй, слишком богословский! И плаксивый какой-то. Интересно, это и вправду господь бог? Добрый день, старик. Скажи, ты господь бог?

БОГ (*плаксиво*). Да, мой мальчик, мой бедный мальчик, я господь бог.

БЕКМАН. Ах, ты, значит, господь бог. Боже милостивый. А кто, собственно, тебя так назвал? Люди? Да? Или ты сам?

БОГ. Люди зовут меня боже милостивый.

БЕКМАН. Должно быть, очень странные люди тебя так прозвали. Довольные, сытые, счастливые, живущие, так сказать, в страхе божьем. Те, что нашли свое место под солнцем, влюбленные, или сытые, или довольные — или то, что по ночам борются со страхом, только те могут сказать боже милостивый. Милостивый! Нет, я этого не скажу, я и не знаю милостивого бога, слышишь ты?

БОГ. Дитя мое, бедное дитя…

БЕКМАН. Когда же ты бываешь милостив, милостивый боже? Очень ты был милостив, когда позволил рычащей бомбе разорвать на куски моего мальчика, ему едва год исполнился, моего маленького сына? Очень ты был милостив, когда допустил, чтобы его убили, отвечай же!

БОГ. Не я повелел его убить.

БЕКМАН. Не ты, верно. Ты только допустил это. Ты не слушал, как он кричит и как рычат бомбы. А где ты, собственно, был, милостивец, когда рычали бомбы? Или ты был милостив, когда одиннадцать моих солдат не вернулись из разведки? На одиннадцать человек нас стало меньше, или тебя в это время не было, боже милостивый? Эти одиннадцать, уж наверное, в голос кричали в пустынном лесу, но тебя, бог, там не было, просто не было. А под Сталинградом очень ты был милостив, милостивый боже, да? Когда же ты был милостив, господи, когда? Хоть раз ты подумал о нас, господи?

БОГ. Никто в меня больше не верит. Ты не веришь, никто не верит. Я бог, в которого никто больше не верит. И никому до меня дела нет. Вам до меня дела больше нет.

БЕКМАН. А ты, бог, изучал богословие? Кому до кого есть дело? Ах, бог, ты стар, ты не современен, тебе не угнаться за нашими бесконечными списками убитых, за нашими страхами. Мы плохо тебя знаем теперь, ты бог из книги сказок. Нам нужен новый. Новый бог для наших страхов, нашей беды. Совсем новый. О, мы тебя искали, бог, искали в каждой развалине, в каждой воронке от гранаты, каждую ночь искали. Бог, мы тебя кляли, плакали, выли по тебе! Где ты был тогда, милостивый боже? Где ты сегодня? Ты что, отвернулся от нас? Замуровал себя в стенах твоих красивых старинных церквей? Разве через разбитые окна до тебя не доносится стон, а, бог? Где ты?

БОГ. Мои дети от меня отвернулись, не я от них. Вы от меня, вы от меня. Я бог, в которого никто больше не верит. Вы от меня отвернулись.

БЕКМАН. Убирайся, старик. Ты портишь мне мою смерть. Уходи, я вижу, ты не более как плаксивый богослов. Ты играешь фразами… Кому до кого есть дело? Кто от кого отвернулся? Вы от меня? Мы от тебя? Ты мертв, бог. А ты живи, живи вместе с нами, ночью, когда холодно, одиноко и в животе урчит, живи вместе с нами, бог. Ах, убирайся ты, чернильная богословская душа, убирайся, плаксивый старикашка!

БОГ. Мой мальчик, мой бедный мальчик! Я ничего не могу изменить! Ничего не могу изменить!

БЕКМАН. В том-то и дело, бог. Ты ничего не можешь изменить. Мы тебя больше не боимся. И не любим. Ты устарел. Богословы тебя состарили. Штаны у тебя с бахромой, подметки дырявые, и голос у тебя теперь тихий — слишком тихий для грома нашего времени. Мы тебя больше не слышим.

БОГ. Да, никто меня больше не слышит, никто. Вы слишком шумные.

БЕКМАН. или ты слишком тихий, бог. Верно, у тебя слишком много чернил в крови, бог, жидких богословских чернил. Иди, старик, они замуровали тебя в церквах, мы больше друг друга не слышим. Иди, но постарайся еще до наступления вечного мрака забиться в какую-нибудь дыру, в темный лес или хотя бы переодеться в другой костюм, иначе они на тебя свалят все свои неудачи. Да смотри не упади впотьмах, старик, дорога крутая, и на ней полным-полно скелетов. И нос себе заткни, бог. А затем, спокойной ночи, спи и впредь так же крепко, старик. Спокойной ночи!

БОГ. Переодеться в другой костюм или уйти в темный лес? Бедные, бедные мои дети! Мой милый мальчик…

БЕКМАН. Иди уж, иди, спокойной ночи!

БОГ. Бедные, бедные мои… (*Уходит.*)

БЕКМАН. Старикам сейчас всего труднее, никак не приспособятся к новым обстоятельствам. Мы все стоим на улице. И бог тоже стоит на улице, и никто не открывает ему дверь. Только смерть, только смерть откроет нам дверь. К ней я и пойду.

ДРУГОЙ. Не жди, чтобы смерть открыла нам свою дверь. У жизни тысяча дверей. Да и кто тебе сказал, что за дверью у смерти есть нечто большее, чем пустота.

БЕКМАН. А что за дверью, которую нам открывает жизнь?

ДРУГОЙ. Жизнь! Сама жизнь! Идем, ты должен идти дальше!

БЕКМАН. Я не могу. Разве ты не слышишь, как хрипят мои легкие: кх-х-кх-х-кх-х. Я не могу.

ДРУГОЙ. Ты можешь. Твои легкие не хрипят.

БЕКМАН. Хрипят. Что же еще так хрипит? слышишь: кх-х, кх-х, кх-х, что же еще?

ДРУГОЙ. Метла дворника! Вон, смотри, дворник идет. Проходит мимо, и его метла скребет мостовую, точно астматическое легкое. Твои легкие не хрипят. Слушай! Это метла. Да слушай же: кх-х, кх-х, кх-х.

БЕКМАН. Метла дворника делает кх-х, кх-х, как легкие умирающего. А у самого дворника красные лампасы на штанах. Это дворник-генерал. Немецкий дворник-генерал. И когда он метет, хрипящие легкие умирающего делают кх-х, кх-х, кх-х. Дворник!

ДВОРНИК. Я не дворник.

БЕКМАН. Не дворник: Кто же ты?

ДВОРНИК. Я служащий института похорон и тления.

БЕКМАН. Ты смерть! И ты ходишь в обличье дворника?

ДВОРНИК. Сегодня — дворника. Вчера — генерала. Смерти привередничать не приходится. Мертвые есть везде. Сегодня они даже валяются на улицах. Вчера они лежали на поле битвы, а смерть была генералом, выступавшим под музыкальное сопровождение ксилофона. Сегодня они валяются на улицах, и метла смерти делает кх-х, кх-х.

БЕКМАН. И метла смерти делает кх-х, кх-х. От генерала до дворника. Разве так упала цена на мертвых?

ДВОРНИК. И все падает. Все падает. Ни салюта. Ни похоронного звона. Ни надгробной речи. Ни памятника павшим воинам. Падает цена. А метла знай себе кх-х, кх-х.

БЕКМАН. Ты уже уходишь? Не спеши. Возьми меня с собой. Смерть, смерть. Ты меня позабыла, эй, смерть!

ДВОРНИК. Я никого не забываю. Мой ксилофон играет “Старые товарищи бойцы”, а моя метла делает кх-х, кх-х, кх-х. Я никого не забываю.

БЕКМАН. смерть, смерть, не закрывай передо мной дверь. Оставь для меня дверь открытой. Смерть, не захлопывай двери. Смерть…

ДВОРНИК. Моя дверь всегда нараспашку. Всегда. По утрам. Вечером. Ночью. При свете солнца и в туман. Всегда моя дверь открыта. Всегда. Везде. А моя метла делают кх-х, кх-х, кх-х.

“Кх-х” становится все тише. Смерть удаляется.

БЕКМАН. Кх-х, кх-х. Слышишь, как хрипят мои легкие? Точно метла дворника. И дворник оставляет дверь настежь. И дворника зовут Смерть. И его метла, как мои легкие, как старые охрипшие часы, делает кх-х, кх-х…

ДРУГОЙ. Бекман, вставай, еще не поздно. Вставай и дыши, дыши, пока не очнешься.

БЕКМАН. Но ведь мои легкие уже делают…

ДРУГОЙ. Ничего такого они не делают. Это была метла, Бекман, метла государственного служащего.

БЕКМАН. Государственного?

ДРУГОЙ. Да. И он уже ушел. Идем, вставай же, вставай, дыши. Жизнь ждет, жизнь со всеми ее фонарями, с тысячами открытых дверей.

БЕКМАН. С меня довольно одной двери. И он сказал, что оставит ее открытой для меня навек, в любое время. Одну дверь.

ДРУГОЙ. Вставай, тебе снится смертный сон. Ты умираешь во сне. Вставай.

БЕКМАН. Нет, я останусь лежать. Вот здесь, перед дверью. А дверь стоит настежь — он так сказал. Здесь и останусь. Вставать — мне? Нет, мне как раз снится прекрасный сон, слышишь ты? Прекрасный, удивительный сон. Мне снится, мне снится, что все кончено. Дворник с метлой прошел мимо и назвал себя Смертью. И его метла хрипела, как мои легкие. Смертельно. И он посулил мне дверь, открытую дверь. Дворники иной раз оказываются очень милыми людьми. Милыми — как смерть. Такой дворник и прошел сейчас мимо.

ДРУГОЙ. Ты спишь, Бекман, и видишь недобрый сон. Проснись, живи!

БЕКМАН. Жить? Но я лежу на улице, и все-все, слышишь ты, все кончено. Во всяком случае, я мертв. Все кончено, и я мертв, прекраснейшим образом мертв.

ДРУГОЙ. Бекман, Бекман, ты должен жить. Все живет. Вокруг тебя. Слева, справа, впереди: все другие живут. А ты? Где ты? Живи, Бекман, все живут!

БЕКМАН. Другие? кто другие? Полковник:? Директор? Фрау Хлам? Жить с ними? О, я уже прекраснейшим образом мертв. Другие ушли далеко, далеко, и я не хочу их больше видеть. Другие — убийцы.

ДРУГОЙ. Бекман, ты лжешь.

БЕКМАН. Я лгу? Разве они не злыдни? Разве это добрые люди?

ДРУГОЙ. Ты не знаешь людей. Они добрые.

БЕКМАН. О, конечно, добрые. И по доброте сгубили меня. До смерти засмеяли. Выставили за дверь. Выгнали. По своей доброте. Они тупицы, и даже сны им снятся тупые. Они хохочут и жуют, и пьют, и спят, и переваривают пищу возле моего трупа. Моя смерть — ничто.

ДРУГОЙ. Ты лжешь, Бекман?

БЕКМАН. Верь мне, говорящий *да*, люди равнодушно проходят мимо моего трупа. Трупы скучны и антипатичны.

ДРУГОЙ. Люди не проходят мимо твоего трупа, Бекман. У людей есть сердце. Люди горюют о твоей смерти, Бекман, и твой труп до глубокой ночи не дает им заснуть. Они не проходят мимо.

БЕКМАН. Ты ошибаешься, говорящий *да*, эти люди проходят мимо моего трупа. Трупы уродливы и противны. Люди торопятся пройти мимо них, они закрывают глаза и зажимают носы.

ДРУГОЙ. Нет, это не так! Их сердце замирает при виде каждого мертвеца!

БЕКМАН. Постой-ка, вон один идет. Ты помнишь его? Это полковник, с помощью своего старого костюма он хотел сделать из меня нового человека. Господин полковник! Господин полковник!

ПОЛКОВНИК. Черт побери, неужто опять развелись нищие? Ну точь-в-точь, как прежде. БЕКМАН. Вот именно, господин полковник, вот именно. Все, как прежде. И нищие — выходцы из тех же самых кругов. Но я совсем не нищий, господин полковник. Я уже очень устал быть солдатом, господин полковник. Вчера я звался унтер-офицер Бекман, господин полковник, может быть, припомните? Бекман. Я был немного мягковат, верно ведь, господин полковник, припоминаете? Да, а завтрашний вечер я проведу на пляже Бланкенезе, тупой, немой и разбухший. Мерзость, верно, господин полковник? А я ведь числюсь на вашем счету, господин полковник. Мерзость, верно? Две тысячи одиннадцать плюс Бекман составляет две тысячи двенадцать. Две тысячи двенадцать ночных призраков, ого!

ПОЛКОВНИК. Я вас не знаю, почтеннейший. В жизни не слыхивал о Бекмане. Какое у вас, собственно, было звание?

БЕКМАН. Но, господин полковник! Неужели господин полковник не припоминает последнего убийства, совершенного им! Я тот, с противогазными очками, и стрижкой каторжника, и негнущейся ногой! Унтер-офицер Бекман, господин полковник!

ПОЛКОВНИК. Правильно! Тот самый! Но, знаете ли, эти нижние чины все до одного подозрительные типы. Медные лбы, резонеры, пацифисты, кандидаты в утопленники. Вы что, утопились? Видно, вы один из тех, что малость одичали на войне, малость потеряли человеческий облик и не нажили ни одной солдатской добродетели. Неприятное зрелище такие типы!

БЕКМАН. Да, господин полковник, неприятное зрелище эти многочисленные разбухшие, белые, размякшие утопленники в наши дни. А вы убийца, господин полковник, убийца. И как вы это выдерживаете — быть убийцей? Как вы себя чувствуете в качестве убийцы, господин полковник?

ПОЛКОВНИК. То есть? Не понимаю! Я?

БЕКМАН. Да, господин полковник, вы меня засмеяли до смерти. Ваш смех был страшнее всех смертей на свете, господин полковник. Вы меня до смерти засмеяли”

ПОЛКОВНИК (*ровно ничего не понимая*). Да? Ну знаете… Вы были одним из тех, кто все равно обречен. Итак, спокойной ночи.

БЕКМАН. приятного сна, господин полковник! И большое вам спасибо за последнее прости! Ты слышал, говорящий *да*, ты слышал, друг человечества, последнее прости, сказанное утонувшему солдату? Один умирает за другого.

ДРУГОЙ. Это снится тебе, Бекман, снится. Люди добры!

БЕКМАН. А ты здорово охрип, оптимистический тенор! Что это у тебя голос сел? О да, люди добры. Но иной раз выдастся денек, когда то и дело натыкаешься на дурных, есть ведь такие. Но, в общем, люди не плохи. Мне ведь это снится. Я не хочу быть несправедливым. Люди не плохи. Но только они очень уж разные, вот в чем дело, непостижимо разные. Один человек — полковник, другой — всего-навсего нижний чин. Полковник сыт, здоров и ходит в шерстяных подштанниках. Вечером его ждет постель и жена.

ДРУГОЙ. Бекман, хватит спать! Вставай, живи! Во сне у тебя все перепуталось.

БЕКМАН. А другой голодает, он хром и не имеет даже рубашки. Вечером старый шезлонг в подвале заменяет ему кровать, а свистящее дыхание астматических крыс — шепот жены. Нет, люди добры. Только разные они, очень уж разные.

ДРУГОЙ. Люди добры. Но они лишены дара предвиденья. Начисто лишены. А сердце? Загляни к ним в сердце, оно доброе. Это жизнь не позволяет им открывать свое сердце. Поверь, в основе все они добрые.

БЕКМАН. Конечно. В основе. Но основа обычно так глубоко заложена, слышишь? Так страшно глубоко. Да, в основе они добрые, только разные. Один белый, другой серый. У одного есть подштанники, у другого нет. Серый без подштанников — это я. Не повезло тебе, утопленник Бекман, отставной унтер-офицер, отставной человек.

ДРУГОЙ. Тебе видится сон, Бекман, вставай. Живи! Пойдем, посмотришь, люди — они добрые.

БЕКМАН. Они проходят мимо моего трупа, они жуют, и смеются, и плюют, и переваривают пищу. Так они проходят мимо моей смерти, добренькие добряки.

ДРУГОЙ. Вставай, не спи! Тебе снится дурной сон, Бекман. Проснись!

БЕКМАН. О да, мне снится до ужаса дурной сон. Смотри, вон идет директор кабаре. Взять мне у него интервью, как ты скажешь?

ДРУГОЙ. Пойдем, Бекман! Живи! Улица полным-полна фонарей. Все живет! Живи и ты!

БЕКМАН. И мне жить? Вместе с кем? С полковником? Нет!

ДРУГОЙ. С другими, Бекман. Живи вместе с другими.

БЕКМАН. И с директором вместе?

ДРУГОЙ. Да, и с ним. Со всеми.

БЕКМАН. Ладно, и с директором. Хелло, господин директор!

ДИРЕКТОР. Что? Да? В чем дело?

БЕКМАН. Вы меня знаете?

ДИРЕКТОР. Нет. Хотя… Постойте. противогазные очки, русская прическа, солдатская шинель. Ну да, да, начинающий с песенкой об адюльтере! Погодите, как вас зовут?

БЕКМАН. Бекман.

ДИРЕКТОР. Верно. Ну и?..

БЕКМАН. Вы меня убили, господин директор.

ДИРЕКТОР. Но, дорогой мой…

БЕКМАН. Да. Тем, что струсили. Тем, что предали правду. Вы загнали меня в мокрую Эльбу тем, что начинающему не дали возможности начать… Я хотел работать. Я был голоден. Но ваша дверь захлопнулась за мной. Вы загнали меня в Эльбу, господин директор.

ДИРЕКТОР. Вы, видно, чувствительный парень. Броситься в Эльбу, в мокрую…

БЕКМАН. В мокрую Эльбу, господин директор. И там уж я досыта напился воды. Один раз досыта, господин директор, но и до смерти. Трагическая история, не так ли? Отличнейший номер для ревю. Шансонетка нашего времени: один раз досыта, зато и до смерти.

ДИРЕКТОР (*сентиментально, но небрежно*). Это просто ужасно! Вы, значит, были одним из чрезмерно чувствительных. Неустроены, мест не хватает. Вы же были одержимы правдой, несчастный фанатик! Вы бы мне всю публику разогнали своей песней.

БЕКМАН. Вот вы передо мной и захлопнули дверь, господин директор. А там внизу протекала Эльба…

ДИРЕКТОР (*тем же тоном*). Видит бог, нет. Но вы-то, один из тех, один из миллионов тех, что хромают по жизни и рады-радешеньки свалиться в Эльбу, в Шпрее, в Темзу — все равно куда. Иначе им покоя не найти.

БЕКМАН. И вы дали мне пинка, чтобы я поскорее упал.

ДИРЕКТОР. Вздор! С чего вы взяли? Да вы были прямо-таки созданы для трагических ролей. Но материал сумасшедший! Баллада начинающего: утопленник в противогазных очках! Жаль, что публике это не по вкусу! Очень жаль… (*Уходит.*)

БЕКМАН. приятного сна, господин директор. Ты слышал? И мне жить дальше вместе с полковником? Вместе с директором?

ДРУГОЙ. Ты спишь, Бекман, проснись!

БЕКМАН. Значит, мне снится сон: И все искажено этими злосчастными противогазными очками? Так это марионетки? Гротескные, карикатурные марионетки! Ты слышал надгробную речь, которую произнес надо мной мой убийца? Эпилог начинающему: тоже один из тех, ты слышал, Другой! Продолжать жить? Дальше хромать по улице? Рядом с другими? У них у всех одинаковые, безразличные, ужасающие физиономии. Они все так бесконечно много говорят, а когда их просишь об одном-единственном “да”, они глухи и немы, как… именно как люди. И трусы они тоже. Они нас предали. Ужасно предали. Когда мы были еще совсем детьми, они затеяли войну. Когда мы немного подросли, они нам рассказывали о войне. С восторгом. Они вечно пребывали в восторженном состоянии. А когда мы еще подросли, они и для нас придумали войну. И нас на нее послали. И были в восторге. Вечно в восторге. И никто не сказал нам, куда мы идем. Никто не сказал: вы идете в преисподнюю. Никто, никто не сказал. Они играли марши и устраивали празднования годовщин Лангемарка. Что владело их умами? военно-полевые суды и планы наступлений. Героические песни и кровавые орды. В таком они были восторге. И вот наконец война. И нас посылают на войну. И они нам ничего не сказали. Сказали только: не трусь, ребята! Не трусить, ребята, и все. Так они предали нас. Ужасно предали. А теперь сидят за запертыми дверями. Господин учитель, господин директор, господин советник юстиции, господин главный врач. Теперь никто никого никуда не посылает. Никто. Все они засели за своими дверями. А двери накрепко заперли. Мы стоим на улице, а они со своих кафедр, из своих кресел пальцами показывают на нас. Так они нас предали. Ужасно предали. И теперь они проходят мимо совершенного ими убийства. Просто-напросто мимо. Проходят мимо.

ДРУГОЙ. Они не проходят мимо, Бекман. Ты преувеличиваешь. Ты грезишь. Вспомни о сердце, Бекман. У них есть сердце! Они добрые!

БЕКМАН. Но фрау Хлам проходит мимо моего трупа.

ДРУГОЙ. Нет! У нее тоже есть сердце!

БЕКМАН. Фрау Хлам!

ФРАУ ХЛАМ. Да?

БЕКМАН. Есть у вас сердце, фрау Хлам? И где оно было, ваше сердце, когда вы меня убили? Да-да, фрау Хлам, вы убили сына стариков Бекманов. А заодно разве вы не прикончили моих родителей? Давайте по-честному, фрау Хлам, все-таки пособили немного, а? Немного подпортили им жизнь, верно? А потом сына прогнали в Эльбу. Но ваше сердце, фрау Хлам, что говорит ваше сердце?

ФРАУ ХЛАМ. С этими идиотскими очками в Эльбу сиганули? Как это я сразу не подумала? Вы же мне, милок, и правда показались меланхоликом. В Эльбу сиганул! Эх, бедняга! Ну и ну!

БЕКМАН. Да, из-за того, что вы с таким сердечным участием, с таким тактом рассказали мне о кончине моих родителей. Ваша дверь была последней. И вы меня оставили стоять на улице. А я тысячу дней, тысячу сибирских ночей уповал на эту дверь. И заодно вы еще совершили маленькое убийство? Так ведь?

ФРАУ ХЛАМ (*грубо, чтобы не взвыть*). Есть такие люди, везде им неудача. Вот и вы такой были. Сибирь. Газовый кран. Ольсдорф. Немножко, конечно, многовато. У меня сердце щемит, да ведь всех оплакивать слез не хватит! И вид у вас, молодой человек, такой был сумрачный! Эх вы, шляпа! Но нельзя, чтобы все тебе сердце щипало, не то даже маргарин, который тоненько-тоненько мажешь на хлеб, горьким покажется. Безо всяких околичностей бухнуться в воду! Чем только не бывает! Каждый день кто-нибудь отправляется на тот свет.

БЕКМАН. Да-да, всего хорошего, фрау Хлам. Ты слышал, Другой? Последнее слово старой сердобольной женщины над гробом молодого человека? Ты слышал?

ДРУГОЙ. Проснись, Бекман!

БЕКМАН. Ты так тихо говоришь. И так далеко от меня отошел.

ДРУГОЙ. Ты видишь смертный сон, Бекман. Проснись! Живи! Не носись так с собою! Каждый день умирают люди. Неужто же вечности исходить надгробным плачем? Живи! Ешь свой хлеб с маргарином, живи! У жизни тысяча шансов. Хватай и ты! Очнись, Бекман!

БЕКМАН. Да, я очнусь. Потому что идет моя жена. Моя жена добрая. Нет, за нею идет ее дружок. Но прежде-то она была добрая. Ах, зачем я три года проторчал в Сибири! Она три года меня ждала, это я знаю, она всегда была так добра ко мне. Виноват во всем я. Она ведь была добрая. А может, она добрая и сейчас?

ДРУГОЙ. Испытай ее! Живи!

БЕКМАН. постой! Не пугайся, это я. Посмотри же на меня! Это я, твой муж, Бекман. Слушай, жена, я лишил себя жизни! Не надо было тебе это затевать, это… с другим. У меня ведь была только ты! Да ты меня не слушаешь! Я знаю, тебе слишком долго пришлось ждать. Но не расстраивайся, мне теперь хорошо. Я мертв. Не хотел больше жить без тебя! Слушай! Да взгляни же на меня! (*Жена, обнявшись со своим дружком, медленно проходит мимо, не слыша Бекмана.*) погоди, ты ведь была моей женой! Взгляни же на меня, ведь это ты меня убила, значит, ты можешь еще разок взглянуть на меня! Слушай, нет, ты меня совсем не слышишь! Ты же меня убила, ты, а теперь спокойно проходишь мимо? Почему ты не слушаешь, что я говорю? (*Жена со своим дружком уже прошли мимо.*) Она меня не слышала. Она меня больше не узнает. Разве я так давно мертв? Она меня забыла, а я только день как мертв. Вот она, доброта, вот она, людская доброта! А ты? Говорящий *да*, ты, кричащий *ура*, ты, отвечающий на вопросы? Ты молчишь? Где ты? Почему ты так далеко от меня отошел? Прикажешь мне дальше жить? Для этого я вернулся из Сибири? Это ведь ты, ты велишь мне жить дальше! Все двери на улице закрыты. Все фонари погасли, все. И только потому, что ты упал, ты продвигаешься вперед. Прикажешь мне и дальше падать? может, ты припас для меня еще один фонарь в темноте? Отвечай же, ты ведь всегда все знаешь!!

ДРУГОЙ. Вот идет девушка, которая вытащила тебя из Эльбы, которая согрела тебя. Девушка, которая хотела, ты слышишь, Бекман, поцеловать твой дурацкий лоб. Она не пройдет мимо твоей смерти. Она повсюду тебя искала.

БЕКМАН. Нет, не искала она меня! Ни один человек не искал меня!.. Не поверю я в это больше! Ни один человек меня не ищет!

ДРУГОЙ. Девушка повсюду тебя искала!

БЕКМАН. Говорящий *да*, ты терзаешь меня! Уходи!

ДЕВУШКА (*не видя его*). Рыбина! Рыба! Где ты? Где ты, несчастная, холодная рыбина?

БЕКМАН. Я? Я мертв.

ДЕВУШКА. Ты мертв? А я-то по всему свету тебя ищу!

БЕКМАН. Зачем ты меня ищешь?

ДЕВУШКА. Зачем? Затем, что я тебя люблю, бедный призрак! Теперь ты мертв? А мне так хотелось тебя поцеловать, рыбина!

БЕКМАН. Что ж, нам вставать из мертвых и дальше идти, потому что девушки нас зовут? Девушки?

ДЕВУШКА. Да, рыбина.

БЕКМАН. А что, если бы я не был мертв?

ДЕВУШКА. О, тогда бы мы вместе пошли ко мне домой. Вернись к жизни, холодная рыбешка! Для меня! Со мной! Пойдем, мы с тобой вместе будем живыми.

БЕКМАН. Мне жить? Ты вправду меня искала?

ДЕВУШКА. Конечно. Тебя! И только тебя! Все время тебя одного. Ах, почему ты мертв, бедный серый призрак? Неужели ты не хочешь быть живым со мной?

БЕКМАН. Да, да, да. Я иду с тобой. Я хочу быть живым с тобой.

ДЕВУШКА. О, моя рыбина!

БЕКМАН. Я встаю. Ты фонарь, что горит для меня. Для меня одного. И мы вместе будем живыми. И мы пойдем, тесно прижавшись друг к другу, по темной улице. Пойдем, мы вместе будем живыми, и мы тесно…

ДЕВУШКА. Да, я горю для тебя одного на темной улице.

БЕКМАН. Ты сказала: горишь? Но что же это? Кругом опять становится темно! Где ты?

Издалека слышится “тук-так” одноногого.

ДЕВУШКА. Слышишь? могильный червь стучит, мне надо бежать, рыбина, мне надо бежать, бедный мой холодный призрак.

БЕКМАН. Куда ты? Останься здесь! Кругом вдруг стало так темно. Фонарь, фонарик! Свети! кто там стучит? Кто-то стучит там! Тук-так, тук-так! Кто же это стучит? Вон там. Тук-так, тук-так! Все громче! Все ближе! Тук-так, тук-так! (*Кричит.*) Там! (*Шепчет.*) Великан, одноногий великан со своими костылями. Тук-так — он движется прямо на меня! Тук-так, тук-так! (*Кричит.*)

ОДНОНОГИЙ (*просто и деловито*). Бекман?

БЕКМАН (*тихо*). Я здесь.

ОДНОНОГИЙ (*просто и деловито*). Бекман? Убийство совершил, Бекман. И все еще живешь.

БЕКМАН. Я не совершал убийства.

ОДНОНОГИЙ. Неправда, Бекман. Нас каждый день убивают, и каждый день мы совершаем убийство. Каждый день проходим мимо убийства. И ты убил меня, Бекман. Уже позабыл? Я ведь три года был в Сибири, Бекман, и вчера вечером пришел домой. Но мое место было занято, ты занял его, Бекман. Тогда я ушел и бросился в Эльбу, Бекман, сразу же, вчера вечером. Куда еще мне было деваться, Бекман? Я в Эльбе, ты слышишь, мокро и холодно. Но теперь я уж привык, теперь ведь я мертвый. Скоро, однако, ты позабыл, Бекман. Убийство не положено так быстро забывать. Оно должно по пятам идти за человеком, Бекман. Я сделал глупость, слышишь ты? мне не надо было идти домой. Дома для меня уже не было места, потому что ты был там, Бекман. Я не виню тебя, мы ведь все убиваем, ежедневно, еженощно. Но нельзя нам так скоро забывать о своих жертвах. Нельзя проходить мимо своих убийств. Да, Бекман, ты отнял у меня мое место. Место на моем диване, рядом с моей женой, моей женой, о которой я грезил три года, грезил тысячу сибирских ночей! Дома у меня был человек в моей одежде, Бекман. Она была ему велика, но он надел ее, ему было тепло и хорошо в этой одежде и рядом с моей женой. И ты, ты, Бекман, был этот человек. Ну что ж, я ретировался. В Эльбу. Холодновато было, Бекман, но я скоро привык. А сейчас я только один день мертв, ты меня убил и уже позабыл об убийстве. Так нельзя, Бекман, об убийстве нельзя забывать, это только дурные люди забывают. А ты меня не позабудешь, правда, Бекман? Ты должен обещать мне, что не позабудешь об убийстве!

БЕКМАН. Я тебя не позабуду.

ОДНОНОГИЙ. Это хорошо, что ты так говоришь, Бекман. Можно спокойно быть мертвым, если хоть один человек о тебе думает, хоть твой убийца, хоть время от времени, по ночам, например, когда не спится! Выходит, мне спокойно можно быть мертвым… (*Удаляется.*)

БЕКМАН (*просыпается*). Тук-так, тук-так! Где я? Я что, спал? Да разве я не умер? Все еще не умер? Тук-так, тук-так через всю жизнь! Тук-так, тук-так через всю смерть! Тук-так, тук-так! Слышишь, стучит могильный червь? А мне, мне жить? Чтобы каждую ночь кто-то стоял на вахте у моей постели! Чтобы мне всю жизнь слышать: тук-так, тук-так! Нет!

Вот она, жизнь! Живет человек, человек возвращается в Германию, человек дрогнет на улице. Он хромой и голодный, человек, вернувшийся в Германию. Он возвращается домой, а его кровать занята. Дверь захлопывается, человек остался на улице.

Человек возвращается в Германию! Он находит себе девушку, но у девушки есть муж, у которого только одна нога и который все время со стоном твердит одно имя. И это имя “Бекман”. Дверь захлопывается, человек остается на улице.

Человек возвращается в Германию! Он ищет людей, но какой-то полковник хохочет до колик в животе. Дверь захлопывается, и человек опять стоит на улице.

Человек возвращается в Германию! Он ищет работу, но какой-то директор труслив, и дверь захлопывается. Человек снова стоит на улице.

Человек возвращается в Германию! Он ищет своих родителей, а какой-то старухе жалко газа, и дверь захлопывается, и он стоит на улице.

Человек возвращается в Германию! И тут приходит одноногий — тук-так идет он, тук-так, и говорит: Бекман. Все время: Бекман. Дышит — Бекман; храпит — Бекман; стонет — Бекман; ругается, орет, молится — Бекман. И он идет по жизни своего убийцы — тук-так, тук-так! А убийца я. Я? Я, убитый, убитый ими и вдруг убийца! А кто защитит нас, не даст нам стать убийцами? Каждый день нас убивают, и каждый день мы совершаем убийства! Каждый день мы проходим мимо убийства! И убийце Бекману уже не под силу каждый день быть убитым, каждый день быть убийцей. И он кричит в лицо всему миру: я умираю! А потом человек, который вернулся в Германию, валяется где-то на улице и умирает. Раньше на улице валялись окурки, апельсинная кожура и клочки бумаги, теперь валяются люди, и значения это не имеет. А потом приходит дворник, немецкий дворник, в форме и с красными лампасами, посланный фирмой “Тлен и Разложение”, и находит убитого убийцу Бекмана. Изголодавшегося, измерзшегося, павшего. В двадцатом столетии! В конце сороковых годов! На улице. В Германии. А люди проходят мимо смерти, невнимательные, задумчивые, напыжившиеся, брезгливые и равнодушные, равнодушные, такие равнодушные! И мертвец в своем мертвом сне чувствует, что смерть его такая же, как жизнь, бессмысленная, незначительная, серая. А ты, ты велишь мне жить! Зачем? Для кого? Для чего? Разве я лишен права на смерть? права на самоубийство? Ты хочешь, чтобы я и впредь позволял убивать себя, чтобы я и впредь убивал? А куда мне идти? На что жить? С кем? Для чего? Куда деваться нам в этом мире? Нас предали! Так страшно предали! Где ты, Другой? Ты ведь всегда был здесь!

А теперь где ты, говорящий *да*? Теперь отвечай! Теперь ты мне нужен! Куда ж ты пропал? Вдруг исчез! Где ты, где ты, Другой, отнявший у меня даже право на смерть? Где старик, что зовет себя богом? Почему он молчит?

Отвечайте же!

Почему вы молчите? Почему?

Неужто никто мне не ответит?

Никто, никто не ответит???

Неужто никто, никто мне не ответит???

1. Перевод стихов И. Грицковой. [↑](#footnote-ref-2)
2. Прочь (*франц.*) [↑](#footnote-ref-3)